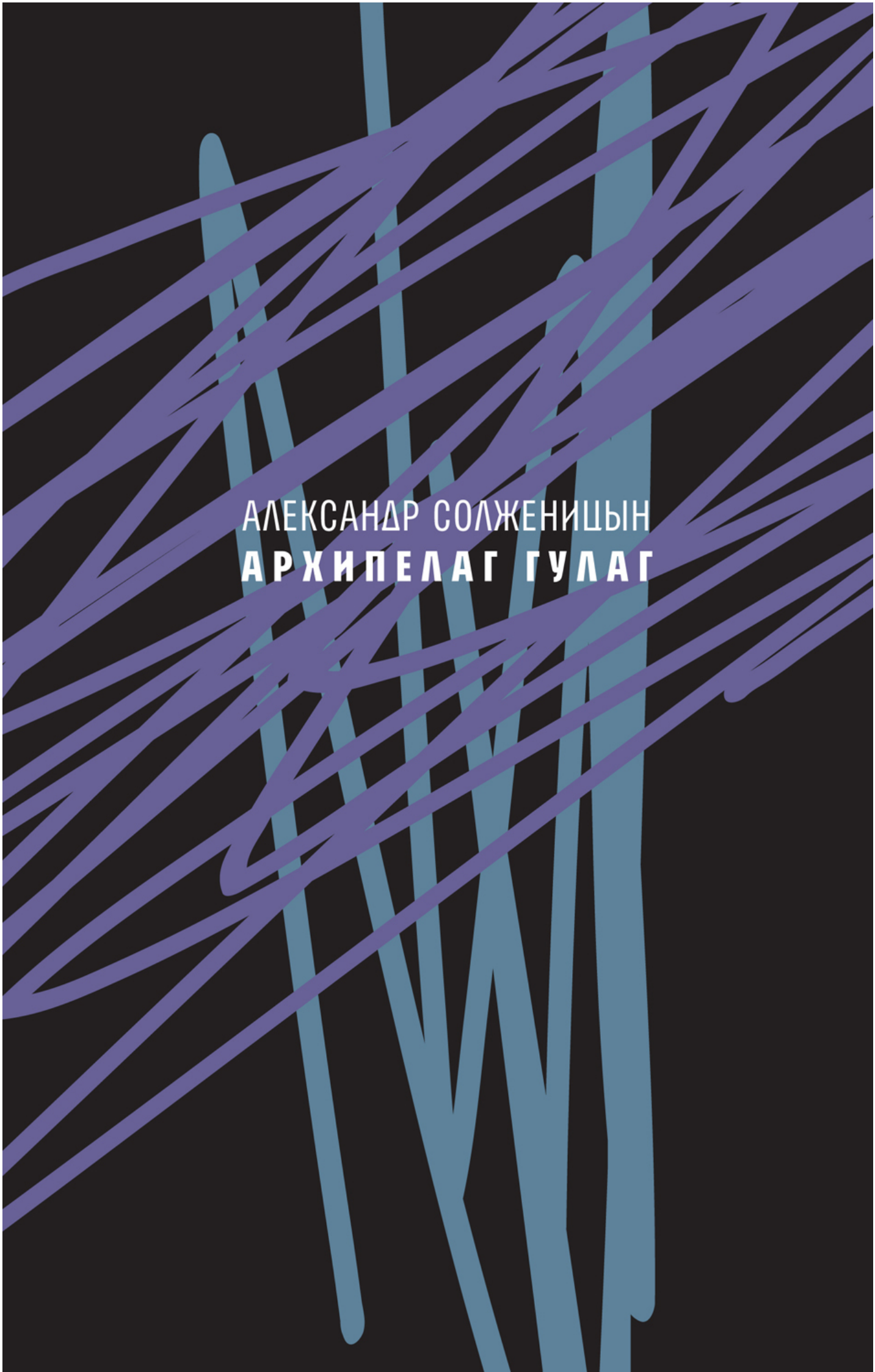
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН
АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ

Собрание сочинений в 30 -ти томах

Александр Солженицын

Архипелаг ГУЛАГ, 1918—1956. Опыт художественного исследования. Сокращённое издание.

«WebKniga»

2017

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2=411.2)6

Солженицын А. И.

Архипелаг ГУЛАГ, 1918—1956. Опыт художественного исследования. Сокращённое издание. / А. И. Солженицын — «WebKniga», 2017 — (Собрание сочинений в 30 -ти томах)

ISBN 978-5-96-911663-4

Документально-художественное исследование Александра Исаевича Солженицына (1918—2008) "Архипелаг ГУЛАГ» в семи частях представлено в этом издании в сокращении, при котором, однако, полностью сохранена структура книги и все её 64 главы. Это книга о трагедии нашего народа в XX веке, требующей осознания и преодоления на пути в будущее. Книга рассчитана на старшеклассников, студентов и широкий круг взрослых читателей.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2=411.2)6

ISBN 978-5-96-911663-4

© Солженицын А. И., 2017
© WebKniga, 2017

Содержание

Фото автора 5
Информация от издательства 8
Н. Д. Солженицына. Дар воплощения 9
Году в тысяча девятьсот сорок девятом… 17
В этой книге нет ни вымышленных лиц… 18
Эту книгу непосильно было бы создать… 19
Часть первая – ТЮРЕМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 20
Глава 1. Арест 20
Глава 2. История нашей канализации 28
Глава 3. Следствие 40
Конец ознакомительного фрагмента. 42

Александр Солженицын
Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956. Опыт художественного исследования

Посвящаю всем, кому не хватило жизни об этом рассказать.

И да простят они мне, что я не всё увидел, не всё вспомнил, не обо всём догадался.

Фото автора

Брянский фронт. 1943 г.

Лагерь на Калужской заставе. 1946 г.

В ссылке. Кок-Терек. 1955 г.

Информация от издательства

Художественное электронное издание

Солженицын, А. И.

Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956. Опыт художественного исследования: сокращённое изд. / Александр Солженицын; [сокращение, вступ. статья, справ. аппарат Н. Солженицыной]. – М.: Время, 2017.

ISBN 978-5-9691-1663-4

Документально-художественное исследование Александра Исаевича Солженицына (1918–2008) «Архипелаг ГУЛАГ» в семи частях представлено в этом издании в сокращении, при котором, однако, полностью сохранена структура книги и все её 64 главы. Это книга о трагедии нашего народа в XX веке, требующей осознания и преодоления на пути в будущее. Книга рассчитана на старшеклассников, студентов и широкий круг взрослых читателей.

© Русский Благотворительный Фонд Александра Солженицына, 2017
© Н. Д. Солженицына, сокращение, вступительная статья, справочный аппарат, 2017
© Оформление, «Время», 2017

Н. Д. Солженицына. Дар воплощения

Странная рукопись появилась в журнале «Новый мир» осенью 1961 года: печать с двух сторон, без полей, без пробелов между строчками, название – «Щ-854», и без имени автора. Редактор отдела прозы Анна Берзер сразу поняла цену удивительной новинки и передала её главному редактору Александру Трифоновичу Твардовскому со словами: «Лагерь глазами мужика, очень народная вещь». «В шести словах нельзя было попасть точнее в сердце Твардовского, – оценил позже Солженицын. – К этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущёв… Как Твардовский потом рассказывал, он вечером лёг в кровать и взял рукопись. Однако после двухтрёх страниц решил, что лёжа не почитаешь. Встал, оделся. Домашние его уже спали, а он всю ночь, перемежая с чаем на кухне, читал рассказ – первый раз, потом и второй. Так прошла ночь, пошли часы по-крестьянскому утренние, уже Твардовский и не ложился. Он звонил и велел узнавать: кто же автор и где он. Особенно понравилось ему, что это – не мистификация какого-нибудь известного пера, что автор – и не литератор, и не москвич».

С той ночи задался Твардовский недостижимой, казалось, целью – опубликовать рассказ об одном дне Ивана Денисовича в своём журнале. «Печатать! Печатать! Никакой цели другой нет. Всё преодолеть, до самых верхов добраться… Доказать, убедить, к стенке припереть. Говорят, убили русскую литературу. Чёрта с два! Вот она, в этой папке с завязочками. А он? Кто он? Никто ещё не видал».

«Он» оказался школьным учителем. Последние пять лет – в Рязани, преподаёт физику и астрономию. А прежде? Математику преподавал, в сельской школе под Владимиром. А до того? В ссылке был, в Казахстане. (И сослан притом «навечно» – но в 1956 хрущёвская оттепель растопила ту «вечную мерзлоту».) Однако по порядку.

Александр Исаевич Солженицын родился в 1918 году в Кисловодске. Родители его (оба – из крестьян, первые в своих семьях получившие образование) венчались в августе 1917 на фронте, где отец служил подпоручиком в Гренадерской артиллерийской бригаде. В 1914 году добровольцем уйдя на германскую войну из Московского университета, провоевав три с половиной года и вернувшись на Кубань в начале 1918, – отец погиб от несчастного случая на охоте за полгода до рождения сына. Мать растила мальчика одна, они бедствовали, жили в холодных гнилых хибарках, топили углем, воду носили в вёдрах издалека. Саня много читал и «непонятным образом с восьми- девятилетнего возраста почему-то думал, что должен быть писателем, когда ещё понятия не имел, во что это может вылиться». Детство и юность Солженицын прожил в Ростове, там окончил среднюю школу, потом физмат Ростовского университета, совмещая с заочной учёбой на литературном факультете Московского Института Истории, Философии и Литературы (МИФЛИ). Война застала его в Москве во время летней сессии.

Начав войну рядовым, прошёл краткосрочный курс артиллерийского училища и с декабря 1942 стал командиром батареи звуковой разведки, в звании лейтенанта. Воевал на Северо-Западном фронте, затем на Брянском. После Орловской битвы награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, после взятия белорусского Рогачёва – орденом Красной Звезды. Командуя своей батареей, был непрерывно на фронте до февраля 1945, когда – уже в Восточной Пруссии, в звании капитана – был арестован за перехваченную цензурой переписку со школьным другом. В письмах молодые офицеры именовали Сталина – за «измену делу революции», за коварство и жестокость – Паханом. Расплата была неминуема. Ему было 26. Он получил 8 лет лагерей и «вечную ссылку» по отбытии срока.

В заключении Солженицын, переполненный впечатлениями предвоенной юности, картинами войны, рассказами однополчан, жестокими буднями следственных тюрем и первых лагерей, начал писать, вернее – сочинять в уме, без бумаги. На вопрос: «Как вы стали писателем?» –

Солженицын ответил: «Глубоко – уже в тюрьме. Я делал литературные опыты и перед войной, писал уже настойчиво в студенческие годы. Но это не была серьёзная работа, потому что у меня не хватало жизненного опыта. Глубоко в тюремные годы я стал работать конспиративно, скрывая сам факт, что я пишу, – более всего скрывая это. Запоминал и заучивал наизусть сперва стихи, а потом уже и прозу». Часть срока он провёл на «шарашке», где заключённые специалисты разрабатывали средства радио- и телефонной связи. На этом жизненном материале написан роман «В круге первом».

С 1950 по 1953 Солженицын – в каторжном лагере Экибастузе (Казахстан), где заключённые лишались имён, их выкликали по номерам, нашитым на шапку, грудь, спину и колено. Там он работал в бригаде каменщиков, потом в литейке, этот лагерь и описан в рассказе «Один день Ивана Денисовича». Писатель вспоминал: «…в какой-то долгий лагерный зимний день таскал носилки с напарником и подумал: как описать всю нашу лагерную жизнь? По сути, достаточно описать один всего день в подробностях… день самого простого работяги, и тут отразится вся наша жизнь. И не надо нагнетать каких-то ужасов, не надо, чтоб это был какой-то особенный день, а – рядовой, вот тот самый день, из которого складываются годы. Задумал я так, и этот замысел остался у меня в уме, девять лет я к нему не прикасался».

За год до конца срока обнаружилась у Солженицына раковая опухоль, его оперируют в лагерной больнице, но рак успел дать метастазы. Сосланный в аул Кок-Терек Джамбульской области, он преподаёт в средней школе математику, физику, астрономию – и пишет. Однако метастазы разрастаются, боль мучает неотступно, и Солженицын, с трудом получив от комендатуры разрешение, едет в онкологическую клинику Ташкента «почти уже мертвецом». Вопреки безнадежным прогнозам мощные дозы рентгенотерапии возвращают его к жизни. Лечение длится несколько месяцев. (Позже этот опыт умирания и выздоровления напитает повесть «Раковый корпус».) Чудом излечившись, Солженицын расценил это как данную свыше «отсрочку».

И только в мае 1959, уже в Рязани, сел и написал задуманный рассказ. Написал – и спрятал. А рискнул предложить в печать – лишь спустя два с лишним года, после заливистой атаки Хрущёва на «культ личности» Сталина на XXII съезде. И Твардовский теперь, начав битву за «Ивана Денисовича», стал собирать для передачи на властный Олимп рецензии самых авторитетных писателей. К. И. Чуковский назвал свой отзыв «Литературное чудо»: «Шухов – обобщённый характер русского простого человека: жизнестойкий, “злоупорный”, выносливый, мастер на все руки, лукавый – и добрый… С этим рассказом в литературу вошёл очень сильный, оригинальный и зрелый писатель… Мне даже страшно подумать, что такой чудесный рассказ может остаться под спудом». С. Я. Маршак, сверх официального отзыва: «По простоте и мужеству [автор], пожалуй, от протопопа Аввакума… В его вещи народ от себя заговорил…» Прочитав рукопись, Анна Ахматова отчеканила: «Эту повесть о-бя-зан прочи-тать и выучить наизусть – *каждый гражданин* изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза».

И вот, спустя год как «пещерная машинопись» попала в журнал, венчая одиннадцать месяцев усилий, манёвров, отчаяний и надежд Твардовского, в ноябрьской книжке «Нового мира» рассказ напечатан, тиражом более 100 тысяч. Это было чудо. «Напечатание моей повести в Советском Союзе, в 62-м году, – говорил спустя 20 лет Солженицын, – подобно явлению против физических законов, как если б, например, предметы стали сами подниматься от земли кверху или холодные камни стали бы сами нагреваться, накаляться до огня».

В том ноябре не умолкал телефон в «Новом мире», благодарили, плакали, искали автора. В библиотеках записывались в очередь, на улицах москвичи осаждали киоски, – память о том не побледнела и через треть столетия, вот вспоминает академик С. С. Аверинцев: «С незабвенным выходом в свет того одиннадцатого новомирского номера жизнь наших смолоду приунывших поколений впервые получила тонус: проснись, гляди-ка, история ещё не кончилась! Чего стоило идти по Москве… видя у каждого газетного киоска соотечественников, спрашивающих

всё один и тот же, уже разошедшийся журнал! Никогда не забуду… человека, который не умел выговорить название “Новый мир” и спрашивал у киоскёрши: “*Ну, это, это, где вся правда-то написана!”* И она понимала, про что он; это надо было видеть… Тут уж не история словесности – история России». В том же ноябре Варлам Шаламов писал Солженицыну: «Я две ночи не спал – читал повесть, перечитывал, вспоминал… Повесть – как стихи – в ней всё совершенно, всё целесообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубока, что я думаю, что “Новый мир” с самого начала своего существования ничего столь цельного, столь сильного не печатал».

Хрущёвская оттепель, однако, скоро кончилась, и уже во второй половине 60-х «Один день Ивана Денисовича» тайным распоряжением изымали из библиотек, а в январе 1974 приказом Главного управления по охране государственных тайн в печати был введён директивный запрет на все произведения Солженицына, напечатанные в СССР. Но к тому времени рассказ был прочитан миллионами наших граждан, переведен и издан на десятках европейских и азиатских языков.

А главное – публикация «Ивана Денисовича» будто прорвала плотину: «Письма мне, письма, уже сотни их, – ошеломлён Солженицын, – и новые пачки доставляют из “Нового мира”, и каждый день притаскивает рязанская почта – просто “в Рязань”, без адреса… Взрыв писем от целой России, нельзя вобрать ни в какие лёгкие, и какая же высота обозрения жизней зэческих, никогда прежде не достижимая, – льются ко мне биографии, случаи, события…» Неудивительно, что нравственная необходимость писать «Архипелаг» стала для него непреложной.

Так Солженицын стал доверенным летописцем народного горя.

Нелегко, однако, найти способ обработать огромный, неожиданно приходящий, незапланированный, неорганизованный материал. Нужно принять всё, что сохранилось, и каждому эпизоду найти место: «В лагере мне приходилось бить чугун, тяжёлые чугунные предметы на куски, их бросали в печь… и получался чугун совсем иного назначения. Так я для шутки называю свои материалы кусками чугуна, очень ценного качества. Пускать его в переплавку, и он в новом виде появляется».

В какую же форму отлить этот переплавленный чугун? Солженицын был убеждённым противником измышления новых форм лишь ради новизны, он полагал, что, если чутко вслушаться, – материал сам подскажет и форму, и плотность, и ткань произведения. Так было и на этот раз: «Я никогда не думал о форме *художественного исследования*, а материал “Архипелага” мне её продиктовал. Художественное исследование – это такое использование фактического (не преображённого) жизненного материала, чтобы из отдельных фактов, фрагментов, *соединённых, однако, возможностями художника,* – общая мысль выступала бы с полной доказательностью, никак не слабей, чем в исследовании научном».

Но и вольно, спокойно расположиться с этим взрывным материалом было невозможно. Скрывать приходилось даже сам факт, что идёт работа над такой книгой. Писатель никогда не держал, не совмещал на одном столе всех собранных материалов. А главный корпус «Архипелага» написал в потайном месте, в Укрывище, как его называл. Он работал там две зимы кряду – 1965/66 и 1966/67. Но лишь через четверть века, в 1991, смог назвать – без опасности для верных друзей – место своего Укрывища и рассказать, как шла работа. То был хутор под Тарту, в Эстонии, зимой пустовавший; в доме – большие окна, старинные печи, запас дров. «В любимый Тарту я приехал в снежноинеистое утро, когда особенно была изукрашена его университетская старина и особенно казался город – полной заграницею, Европою… и посетило меня впервые в жизни ощущение безопасности, будто совсем я уехал из-под треклятой облавы ГБ. Это успокаивающее чувство облегчило начало моей работы».

В первую зиму писатель пробыл в Укрывище 65 дней, во вторую – 81. За это время сотни разрозненных заготовок превратились в жгучий текст, в машинописную книгу, больше тысячи

страниц. «Так, как эти 146 дней в Укрывище, я не работал никогда в жизни, это был как бы даже не я, меня несло, моей рукой писало, я был только бойк*о*м пружины, сжимавшейся полвека и вот отдающей… Во вторую зиму я сильно простудился, меня ломило и трясло, а снаружи был тридцатиградусный мороз. Я всё же колол дрова, истапливал печь, часть работы делал стоя, прижимаясь спиной к накалённому зеркалу печи вместо горчичников, часть – лёжа под одеялами, и так написал, при температуре 38°, единственную юмористическую главу ("Зэки как нация"). Связи с внешним миром я себе не оставил никакой… но то всё, во внешнем мире, и не могло меня касаться: я соединился со своим заветным материалом, и единственная и последняя жизненная цель была – чтоб из этого соединения родился "Архипелаг"… а воротясь во внешний мир принять хотя б и казнь. Это были вершинные недели и моей победы и моей отрешённости».

Ещё год дописывался, добавлялся, доправлялся «Архипелаг», наконец в мае 1968 в дачном домике под Москвой – пока соседей нет и стук машинок не слышит никто – собрались писатель с помощницами в три пары рук печатать и выверять окончательный текст. «От рассвета до темени правится и печатается "Архипелаг", а тут ещё одна машинка каждый день портится, то сам её паяю, то вожу на починку, – вспоминал Солженицын. – Самый страшный момент: с нами – единственный подлинник, с нами – все отпечатки "Архипелага". Нагрянь сейчас ГБ – и слитный стон, предсмертный шёпот миллионов, все невысказанные завещания погибших – всё в их руках, этого мне уже не восстановить… Столько десятилетий им везло – неужели попустит Бог и теперь? неужели совсем невозможна справедливость на русской земле?»

И вот «Архипелаг» закончен, отснят, плёнка скручена – так хранить будет легче, а когда-то и переслать в недосягаемое, надёжное место. И в этот самый день приходит новость: есть возможность на днях *отправить* «Архипелаг»! – «Только потянулись сладко, что работу обугол, – как уже в колокол! в колокол!!! – в тот же день и почти в тот же час! Никакой человеческой планировкой так не подгонишь! Бьёт колокол! бьёт колокол судьбы и событий – оглушительно! – и никому ещё неслышно, в июньском нежном зелёном лесу».

Приехал в Москву на неделю с группой ЮНЕСКО Саша Андреев, русский парижанин, внук писателя Леонида Андреева – друзья Солженицына хорошо знают всю семью. Просить его, не просить? И согласится ли? А если на таможне досмотрят? – гибель и книге, и автору, и ему самому. Но и – будет ли другой такой случай? «Зато – *руки чистые:* не корыстные люди, с русским подлинным чувством». – Так бы хорошо сейчас вздохнуть, отдохнуть – но не даёт послабленья долг перед погибшими. Решили отправлять. «Только-только вынырнуло сердце из тревоги – и ныряет в новую. Отдышки нет». – Прошла мрачная, тревожная, давящая неделя, пока пришла весть об удаче. Солженицын был счастлив: «Свобода! Лёгкость! Весь мир – обойми! я – разве в оковах? я – зажатый писатель? Да во все стороны свободны мои пути! Сброшено всё, что годами меня огрузняло, и распахивается простор в главную вещь моей жизни – "Красное Колесо"».

В октябре 1970 – радиовзрыв из Стокгольма: Солженицыну присуждена Нобелевская премия по литературе! «За нравственную силу, с которой он продолжил извечную традицию русской литературы».

«Премия свалилась, как снегом весёлым на голову!» – вспоминал то время Солженицын. Уж какое, казалось бы, веселье? – пять лет как имя его под запретом, личный архив – изъят и арестован, не печатается в СССР ни единая строка, – да всего-то и было напечатано после «Ивана Денисовича» четыре рассказа, а роман, повесть, пьесы, даже стихотворения в прозе – перед ними стена непрошибаемая, только Самиздат благодарно впитывает их. Год назад Солженицына исключили из Союза писателей. А он – с упоением кончает, кончает «Август Четырнадцатого», первый «Узел» заветной своей эпопеи о русской революции. В Стокгольм получать премию – не едет, боится, что не пустят обратно.

Но в том удача, думает Солженицын, что премия пришла, по сути, рано: «Я получил её, почти не показав миру своего написанного, лишь “Ивана Денисовича”, “Корпус” да облегчённый “Круг”, всё остальное – удержав в запасе. Теперь-то с этой высоты я мог накатывать шарами книгу за книгой, утягчённые гравитацией… Главный-то грех ныл во мне – “Архипелаг”. Сперва я намечал его печатанье на Рождество 1971. Но вот оно и пришло, и прошло… уже Нобелевская премия у меня – а я отодвигаю? для тех, кто в лагерные могильники свален, как мороженые брёвна, с дрог по четыре, мои резоны – совсем не резоны. Что было в 1918, и в 1930, и в 1945 – неужели в 1971 ещё не время говорить? Их смерть хоть рассказом окупить – неужели не время?..»

Но ведь Архипелаг – только наследник, дитя Революции. А о ней у нас – ещё больше искажено, перевёрнуто, скрыто, и следующим поколениям докопаться будет ещё трудней. Открыть «Архипелаг» – голова на плаху, эту книгу – автору не спустят, и зэкам-свидетелям не поздоровится. *После* «Архипелага» уже не дадут писать роман о революции – значит, как можно больше надо успеть *до*.

«В мирной литературе мирных стран – чем определяет автор порядок публикации книг? Своею зрелостью. Их готовностью. А у нас – это совсем не писательская задача, но напряжённая стратегия. Книги – как дивизии или корпуса: то должны, закопавшись в землю, не стрелять и не высовываться; то во тьме и беззвучии переходить мосты; то, скрыв подготовку до последнего сыпка земли, – с неожиданной стороны в неожиданный миг выбегать в дружную атаку. А автор, как главный полководец, то выдвигает одних, то задвигает других на пережидание».

И Солженицын – с головой погружён в «Октябрь Шестнадцатого», и материалы собирает для Узлов следующих, и в Тамбовскую область едет, ища наглухо втоптанные следы Антоновского восстания, – а появление «Архипелага» окончательно назначает на май 1975. Но судьба распоряжается иначе. В августе 1973, после долгой слежки за одной из помощниц Солженицына, в череде трагических событий КГБ обнаруживает и захватывает промежуточный машинописный экземпляр «Архипелага». Писатель узнаёт об этом «совсем случайным фантастическим закорочением, какими так иногда поражают наши многомиллионные города», – и тут же, 5 сентября, шлёт в Париж распоряжение: немедленно печатать! И чтоб на первой странице стояло:

«Со стеснением в сердце я годами воздерживался от печатания этой уже готовой книги: долг перед ещё живыми перевешивал долг перед умершими. Но теперь, когда Госбезопасность всё равно взяла эту книгу, мне ничего не остаётся, как немедленно публиковать её».

Книгу тайно набирают и печатают в старейшем русском эмигрантском издательстве «ИМКА-пресс» – и 28 декабря 1973 мировое радио и пресса сообщают: «Архипелаг ГУЛАГ», первый том, вышел в Париже. Сначала – полное обомление и тишина, да ведь Новый год, – но с середины января распаляется шумная газетная травля, с каждым днём накалявшая градус «народного гнева». Навстречу ей несутся европейские отклики: «Огненный знак вопроса над всем советским экспериментом с 1918 г.». «Может быть, когда-нибудь мы будем считать появление “Архипелага” отметкой о начале распада коммунистической системы». «Солженицын призывает к покаянию. Эта книга может стать главной книгой национального возрождения, если в Кремле сумеют её прочесть». И на травлю: «Против вооружённых повстанцев можно послать танки, но – против книги?» «Расстрел, Сибирь, сумасшедший дом только подтвердили бы, как прав Солженицын». Западные журналисты в Москве пробиваются к писателю: «Как, вы думаете, поступят с вами власти?» Он отвечает: «Совершенно не берусь прогнозировать. Я выполнил свой долг перед погибшими, это даёт мне облегчение и спокойствие. Эта правда обречена была изничтожиться, её забивали, топили, сжигали, растирали в порошок. Но вот она соединилась, жива, напечатана – и этого уже никому никогда не стереть». Он объявляет, что отказывается от гонораров за «Архипелаг»: «они пойдут на увековечение погибших и на помощь семьям политзаключённых в Советском Союзе».

Власть лихорадочно ищет, как избавиться от Солженицына. Раздавить его на глазах у мира, уже читающего «Архипелаг», не решились. 12 февраля 1974 его арестовывают, привозят в Лефортовскую тюрьму, предъявляют обвинение в «измене родине», на следующий день зачитывают Указ о лишении гражданства, везут под конвоем в аэропорт и высылают из страны.

Что же за книга такая – «Архипелаг ГУЛАГ»? Что вышло из переплавки тяжёлых чугунных осколков?

«Архипелаг возникает из моря» – так названа глава о легендарных раннесоветских Соловках. Каковы же очертания всплывшего Архипелага?

Вслед за автором мы ступаем в ладью, на которой поплывём с острова на остров, то протискиваясь узкими протоками, то несясь прямыми каналами, то захлёбываясь в волнах открытого моря. Такова сила его искусства, что из сторонних зрителей мы быстро превращаемся в участников путешествия: содрогаемся от шипения: «Вы арестованы!», изводимся в камере всю бессонную первую ночь, с колотящимся сердцем шагаем на первый допрос, безнадёжно барахтаемся в мясорубке следствия, заглядываем по соседству в камеры смертников, – и через комедию «суда», а то и вовсе без него нас вышвыривает на острова Архипелага. – Мы сутки за сутками едем в забитом арестантами «вагон-заке», мучаясь от жажды; на пересылках нас грабят блатные; в лагерях на Колыме и в Сибири мы, истощённые голодом, замерзаем на «общих работах». Если хватает сил, мы оглядываемся и видим вокруг – и слушаем рассказы – крестьян и священников, интеллигентов и рабочих, бывших партийцев и военных, стукачей и «придурков», уголовников и «малолеток», людей всех вер и народов, населявших Советский Союз. И лагерное начальство видим, охранников, «сынков с автоматами». И каторжные лагеря, колонны зэков с лоскутными номерами в окружении овчарок, рвущихся с поводков. Мы сами, может быть, никогда не решились бы на побег – но с какой страстью, и надеждой, и отчаянием следим мы за побегами смельчаков! И вот приходит время восстаний, – мы читаем о них и уверенно знаем, что и мы были бы со всеми, «когда в зоне пылает земля». – А те из нас, кто выжил, попадают в ссылку, и ссылка та иногда тяжелее лагеря. Тут узнаём, что миллионы наших сограждан были, оказывается, выброшены из родных мест: «мужичья чума» сгноила лучших, работящих, независимых крестьян с их семьями, при каждой судороге внутрипартийной борьбы «вычищали» и высылали сотни тысяч ни в чём не повинных горожан, а во время и после Великой войны – ссылали целые народы.

И ещё сверх этого гигантского полотна, сверх сотен людских судеб – разворачивает Солженицын историю наших карательных потоков, «нашей канализации», прослеживает путь от ленинских декретов к сталинским указам, – и становится видно с жестокой ясностью, что не цепь «ошибок» и «нарушений законности» воздвигла проклятый Архипелаг, а был он неизбежным порождением самой Системы, без этой нечеловеческой лютости не удержать бы ей власть.

Но если бы всем тем исчерпывался «Архипелаг ГУЛАГ» – его постигла бы судьба исторических трактатов: с уходом в прошлое описанной эпохи они становятся источником сведений о ней, в лучшем случае – её памятником. Однако «“Архипелаг” невозможно рассматривать как всего лишь произведение литературы, хотя это литература, и литература великая… Это нечто совершенно уникальное, не имеющее аналогов ни в русской, ни в западной литературе», – писал один из первых критиков. Что это? – историческое исследование? личные мемуары? Политический трактат? философское размышление? – нет, «скорее сплав всех этих жанров, где целое значительнее суммы отдельных его составляющих».

Точнее всех те, кто назвал «Архипелаг» эпической поэмой. Но о чём поэма?

«Пусть захлопнет книгу тот читатель, кто ждёт, что она будет политическим обличением, – написал Солженицын. – Если б это было так просто! – что где-то есть чёрные люди, злокозненно творящие чёрные дела, и надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека… Линия эта подвижна,

она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце – неискоренённый уголок зла».

Книга эта – о восхождении человеческого Духа, о единоборстве его со злом. Вот почему, закрывая её, помимо боли и гнева читатель чувствует прилив силы и света.

«Эта книга уникальна ещё и тем, что она мгновенно стала международным бестселлером и расходится миллионными тиражами (такого до сих пор не смог достичь ни один писатель, классический или современный), но при этом так и не опубликована на родине автора», – писали на Западе.

Вот уже на десятки языков переведен «Архипелаг», множество раз переиздан, в сотнях статей обсуждён, – а в СССР за подпольное чтение слепых отпечатков можно и срок получить. И всё же отчаянные множат и множат, на машинках и на фотобумаге, и один смельчак ухитрился нелегально ксерокопировать с парижского издания, а другой в своей столярной мастерской режет и переплетает, получаются самодельные книжечки, и одну такую переслал автору с запиской: «С радостью посылаю Вам в подарок здешнее издание Книги. (Тираж – 1500, первый завод – 200 экз.) Верю, что Бог не попустит пресечь это дело. Издание – не только и не столько для московских снобов, а для провинции. Охвачены города: Якутск, Хабаровск, Новосибирск, Красноярск, Свердловск, Саратов, Краснодар, Тверь и более мелкие…» – «Чувство было необычайное: здесь, за границей, получить такую книгу из России! – записал Солженицын. – Невероятное издание, смертельно опасное для своих издателей… Так – кладут головы русские мальчики, чтобы шагал “Архипелаг” в недра России. Нельзя представить их всех – без слёз…»

…Прошло 16 лет. Наша страна изменилась. «Архипелаг ГУЛАГ» напечатали. С автора сняли обвинение в «измене», он смог вернуться на родину. Многое, хоть и не всё, рассекретили. И пишет исследователь, долгие месяцы просидевший в наших архивах: «Когда через пятнадцать с лишним лет после крушения СССР перечитываешь “Архипелаг ГУЛАГ”, поражаешься не тому, что в книге есть фактические ошибки, а тому, насколько их мало, учитывая, что у автора не было доступа ни к архивам, ни к официальным документам… Именно благодаря своей правдивости “Архипелаг” не утратил актуальности и значимости, которых у него не отнимешь» (Энн Эпплбаум, автор книги об истории ГУЛАГа (2003), получившей Пулитцеровскую премию). – Но «в том-то и всё дело, что, сколь правдиво и объективно ни было “исследование”, любое исследование, никогда не может оно стать самим ***явлением*** правды, ибо не имеет оно в себе силы воплощать. В том-то и всё дело, что дар претворения и воплощения дан только художнику, в этом его призвание, назначение и служение, и… в этом претворении и воплощении, наполненное плотью и кровью, новой жизнью и силой зажило “художество”» (о. Александр Шмеман).

Да как бы не сбылось печальное пророчество Л. К. Чуковской в её письме Солженицыну по прочтении «Архипелага»: «Это чудо, воскрешающее людей, меняющее состав крови, творящее новые души. И вот беда: Вы дожили до войны, тюрьмы, каторги, славы, любви, ненависти, изгнания – до всего. Есть только одно, до чего Вы не доживёте: до художественного анализа. Восхищения и возмущения мешают людям оценить художественную гениальность и постичь природу её… Когда же родится критик, который объяснит фразу Солженицына, абзац Солженицына, главу Солженицына? Легче всего с особенностями словаря, а синтаксис? Скрытый ритм, при отсутствии явного? Ёмкость слова? Новизна движения, развития мысли? Кто поднимет такую работу или хоть бы начнет её? Для того чтобы анализировать, надо привыкнуть, перестать обжигаться, – а мы прикованы к смыслу, сведениям, обжигаемся болью…»

И может быть, недаром опасался Иосиф Бродский, наш пятый Нобелевский лауреат: «Если советская власть не имела своего Гомера, в лице Солженицына она его получила… Возможно, что через 2 тысячи лет чтение “ГУЛАГа” будет доставлять то же удовольствие, что чте-

ние “Илиады” сегодня. Но если не читать “ГУЛАГ” сегодня, вполне может статься, что гораздо раньше, чем через 2 тысячи лет, читать обе книги будет некому».

Живя в изгнании в североамериканском штате Вермонт, получал Солженицын письма от американских профессоров – мол, не могут наши студенты одолеть все три тома «Архипелага», хорошо бы сделать для них сокращённое английское издание. Автор противился, но в конце концов профессор Эдвард Эриксон убедил его и представил на рассмотрение однотомный вариант. Александр Исаевич со вздохом согласился и сказал мне: «Что делать? раз не могут полный одолеть, пусть будет этот. Но уж в России, когда время придёт, сокращать не понадобится». («Архипелаг», сокращённый Эриксоном, был издан в Соединённых Штатах в 1985 году, затем в Англии, вослед и в других европейских странах, им широко пользуются на Западе преподаватели и студенты.)

И вот спустя 20 лет, в последние годы жизни Александра Исаевича, пришлось нам признать, что и в России современная жизнь не оставляет возможности – если не студентам, то школьникам – прочесть полный «Архипелаг». И, не без горечи, поручил мне Александр Исаевич составить однотомный «Архипелаг», «школьный». Задача эта отличалась от задачи профессора Эриксона в той степени, в какой отличаются от американских – не столько знания, сколько «генетический опыт» и «коллективная память» российских школьников.

Я задалась целью, при максимально возможном сокращении объёма, сохранить структуру, архитектуру книги, чтобы она не превратилась в собрание эпизодов и осколков, но осталась непрерывным путешествием по островам Архипелага. И чтобы нашим лоцманом оставался сам Автор, проложивший для этого плавания свою непревзойдённо выверенную траекторию.

В предлагаемом тексте сжаты, но сохранены все 64 главы полного «Архипелага» (только 3 из них сокращены «радикально»: представлены лишь своим названием и несколькими конспективными строками). Добавлены поясняющие подстрочные примечания. Дополнены словари тюремно-лагерных терминов и советских сокращений. Впервые составлен словарь значимых имён.

На конечном этапе работы важные поправки, советы и предложения дали мне многолетняя помощница и друг Солженицына Е. Ц. Чуковская, учителя-словесники Т. Я. Ерёмина, Е. С. Абелюк, С. В. Волков. Я сердечно благодарна им и своим сыновьям, чья постоянная поддержка много значила для меня в этом ответственном и непростом труде.

Апрель 2010

Наталия Солженицына

Году в тысяча девятьсот сорок девятом…

Году в тысяча девятьсот сорок девятом напали мы с друзьями на примечательную заметку в журнале «Природа» Академии Наук. Писалось там мелкими буквами, что на реке Колыме во время раскопок была как-то обнаружена подземная линза льда – замёрзший древний поток, и в нём – замёрзшие же представители ископаемой (несколько десятков тысячелетий назад) фауны. Рыбы ли, тритоны ли эти сохранились настолько свежими, свидетельствовал учёный корреспондент, что присутствующие, расколов лёд, тут же охотно съели их.

Немногочисленных своих читателей журнал, должно быть, немало подивил, как долго может рыбье мясо сохраняться во льду. Но мало кто из них мог внять истинному богатырскому смыслу неосторожной заметки.

Мы – сразу поняли. Мы увидели всю сцену ярко до мелочей: как присутствующие с ожесточённой поспешностью кололи лёд; как, попирая высокие интересы ихтиологии и отталкивая друг друга локтями, они отбивали куски тысячелетнего мяса, волокли его к костру, оттаивали и насыщались.

Мы поняли потому, что сами были из тех *присутствующих*, из того единственного на земле могучего племени зэков, которое только и могло *охотно* съесть тритона.

А Колыма была – самый крупный и знаменитый остров, полюс лютости этой удивительной страны ГУЛАГ, географией разодранной в архипелаг, но психологией скованной в континент, – почти невидимой, почти неосязаемой страны, которую и населял народ зэков.

Архипелаг этот чересполосицей иссек и испестрил другую, включающую, страну, он врезался в её города, навис над её улицами – и всё ж иные совсем не догадывались, очень многие слышали что-то смутно, только побывавшие знали всё.

Но, будто лишившись речи на островах Архипелага, они хранили молчание.

Неожиданным поворотом нашей истории кое-что, ничтожно малое, об Архипелаге этом выступило на свет. Но те же самые руки, которые завинчивали наши наручники, теперь примирительно выставляют ладони: «Не надо!.. Не надо ворошить прошлое!.. Кто старое помянет – тому глаз вон!» Однако доканчивает пословица: «А кто забудет – тому два!»

Идут десятилетия – и безвозвратно слизывают рубцы и язвы прошлого. Иные острова за это время дрогнули, растеклись, полярное море забвения переплескивает над ними. И когда-нибудь в будущем веке Архипелаг этот, воздух его и кости его обитателей, вмёрзшие в линзу льда, – представятся неправдоподобным тритоном.

Я не дерзну писать историю Архипелага: мне не досталось читать документов. Но кому-нибудь когда-нибудь – достанется ли?.. У тех, не желающих *вспоминать*, довольно уже было (и ещё будет) времени уничтожить все документы дочиста.

Свои одиннадцать лет, проведенные там, усвоив не как позор, не как проклятый сон, но почти полюбив тот уродливый мир, а теперь ещё, по счастливому обороту, став доверенным многих поздних рассказов и писем, – может быть, сумею я донести что-нибудь из косточек и мяса? – ещё, впрочем, живого мяса, ещё, впрочем, живого тритона.

В этой книге нет ни вымышленных лиц…

В этой книге нет ни вымышленных лиц, ни вымышленных событий. Люди и места названы их собственными именами.

Если названы инициалами, то по соображениям личным. Если не названы вовсе, то лишь потому, что память людская не сохранила имён, – а всё было именно так.

Эту книгу непосильно было бы создать…

Эту книгу непосильно было бы создать одному человеку. Кроме всего, что я вынес с Архипелага, – шкурой своей, памятью, ухом и глазом, материал для этой книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах —

[перечень 227 имён].

Я не выражаю им здесь личной признательности: это наш общий дружный памятник всем замученным и убитым.

Из этого списка я хотел бы выделить тех, кто много труда положил в помощь мне, чтоб эта вещь была снабжена библиографическими опорными точками из книг сегодняшних библиотечных фондов или давно изъятых и уничтоженных, так что найти сохранённый экземпляр требовало большого упорства; ещё более – тех, кто помог утаить эту рукопись в суровую минуту, а потом размножить её.

Но не настала та пора, когда я посмею их назвать[1].

Старый соловчанин Дмитрий Петрович Витковский должен был быть редактором этой книги. Однако полжизни, проведенных *там* (его лагерные мемуары так и называются «Полжизни»), отдались ему преждевременным параличом. Уже с отнятой речью он смог прочесть лишь несколько законченных глав и убедиться, что обо всём ***будет рассказано***.

А если долго ещё не просветлится свобода в нашей стране, то само чтение и передача этой книги будут большой опасностью – так что и читателям будущим я должен с благодарностью поклониться – от тех, от погибших.

[1] О своих бесценных помощниках, «невидимках», А. И. Солженицын рассказал в книге «Бодался телёнок с дубом» (М.: Согласие, 1996). В 2007 году автор впервые опубликовал полный список «свидетелей Архипелага, чьи рассказы, письма, мемуары и поправки использованы при создании этой книги». Это издание «Архипелага ГУЛАГа» (Екатеринбург: У-Фактория) было, также впервые, снабжено аннотированным Именным указателем; с тех пор все полные издания книги печатаются со списком свидетелей и Именным указателем. – *Примеч. ред.*

Часть первая – ТЮРЕМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В эпоху диктатуры и окружённые со всех сторон врагами, мы иногда проявляли ненужную мягкость, ненужную мягкосердечность.
Крыленко, речь на процессе «Промпартии»

Глава 1. Арест

Как попадают на этот таинственный Архипелаг? Туда ежечасно летят самолёты, плывут корабли, гремят поезда – но ни единая надпись на них не указывает места назначения. И билетные кассиры, и агенты Совтуриста и Интуриста будут изумлены, если вы спросите у них туда билет.

Ни всего Архипелага в целом, ни одного из бесчисленных его островков они не знают, не слышали.

Те, кто едут Архипелагом управлять, – попадают туда через училища МВД.

Те, кто едут Архипелаг охранять, – призываются через военкоматы.

А те, кто едут туда умирать, как мы с вами, читатель, те должны пройти непременно и единственно – через арест.

Арест!! Сказать ли, что это перелом всей вашей жизни? Что это прямой удар молнии в вас? Что это невмещаемое духовное сотрясение, с которым не каждый может освоиться и часто сползает в безумие?

Вселенная имеет столько центров, сколько в ней живых существ. Каждый из нас – центр вселенной, и мироздание раскалывается, когда вам шипят: *«Вы арестованы!»*

Если уж вы арестованы – то разве ещё что-нибудь устояло в этом землетрясении?

Но затмившимся мозгом неспособные охватить этих перемещений мироздания, самые изощрённые и самые простоватые из нас не находятся в этот миг изо всего опыта жизни выдавить что-нибудь иное, кроме как:

– Я?? За что?!? —

вопрос, миллионы и миллионы раз повторенный ещё до нас и никогда не получивший ответа.

Арест – это мгновенный разительный переброс, перекид, перепласт из одного состояния в другое.

По долгой кривой улице нашей жизни мы счастливо неслись или несчастливо брели мимо каких-то заборов, заборов, заборов – гнилых деревянных, глинобитных дувалов, кирпичных, бетонных, чугунных оград. Мы не задумывались – чт*о* за ними? Ни глазом, ни разумением мы не пытались за них заглянуть – а там-то и начинается – страна ГУЛАГ, совсем рядом, в двух метрах от нас. И ещё мы не замечали в этих заборах несметного числа плотно подогнанных, хорошо замаскированных дверок, калиток. Все, все эти калитки были приготовлены для нас! – и вот распахнулась быстро роковая одна, и четыре белые мужские руки уцепляют нас за ногу, за руку, за воротник, за шапку, за ухо – вволакивают как куль, а калитку за нами, калитку в нашу прошлую жизнь, захлопывают навсегда.

Всё. Вы – арестованы!

И нич-ч-чего вы не находитесь на это ответить, кроме ягнячьего блеянья:

– Я-а?? За что??..

И всё. И ничего больше вы не способны усвоить ни в первый час, ни в первые даже сутки.

Ещё померцает вам в вашем отчаянии цирковая игрушечная луна: «Это ошибка! Разберутся!»

Всё же остальное, что сложилось теперь в традиционное и даже литературное представление об аресте, накопится и состроится уже не в вашей смятенной памяти, а в памяти вашей семьи и соседей по квартире.

Это – резкий ночной звонок или грубый стук в дверь. Это – бравый вход невытираемых сапог бодрствующих оперативников. Это – за спинами их напуганный прибитый понятой.

Традиционный арест – это ещё сборы дрожащими руками для уводимого: смены белья, куска мыла, какой-то еды, и никто не знает, чт*о* надо, чт*о* можно и как лучше одеть, а оперативники торопят и обрывают: «Ничего не надо. Там накормят. Там тепло». (Всё лгут. А торопят – для страху.)

Традиционный арест – это ещё потом, после увода взятого бедняги, многочасовое хозяйничанье в квартире жёсткой чужой подавляющей силы. Это – взламывание, вспарывание, сброс и срыв со стен, выброс на пол из шкафов и столов, вытряхивание, рассыпание, разрывание – и нахламление горами на полу, и хруст под сапогами. И ничего святого нет во время обыска! При аресте паровозного машиниста Иношина в комнате стоял гробик с его только что умершим ребёнком. *Юристы* выбросили ребёнка из гробика, они искали и там. И вытряхивают больных из постели, и разбинтовывают повязки. И ничто во время обыска не может быть признано нелепым! У нашего лучшего знатока Тибета Вострикова изъяли драгоценные тибетские древние рукописи (и ученики умершего еле вырвали их из КГБ через 30 лет!). У Каргера замели архив енисейских остяков, запретили изобретенную им письменность и букварь – и остался народец без письменности. Интеллигентным языком это долго всё описывать, а народ говорит об обыске так: *ищут, чего не клали.*

Отобранное увозят, а иногда заставляют нести самого арестованного – в пасть к ним, навсегда, без возврата.

Так представляем мы себе арест.

И верно, ночной арест описанного типа у нас излюблен, потому что в нём есть важные преимущества. Все живущие в квартире ущемлены ужасом от первого же стука в дверь. Арестуемый вырван из тепла постели, он ещё весь в полусонной беспомощности, рассудок его мутен. При ночном аресте оперативники имеют перевес в силах: их приезжает несколько вооружённых против одного, недостегнувшего брюк.

И ещё то достоинство у ночных арестов, что ни соседние дома, ни городские улицы не видят, скольких увезли за ночь. Их как бы и не было. По той самой асфальтной ленте, по которой ночью сновали воронк*и*, – днём шагает молодое племя со знамёнами и цветами и поёт неомрачённые песни.

Но у *берущих*, чья служба и состоит из одних только арестов, для кого ужасы арестованных повторительны и докучны, у них понимание арестной операции гораздо шире. У них – большая теория, не надо думать в простоте, что её нет. Арестознание – это важный раздел курса общего тюрьмоведения. Аресты имеют классификацию по разным признакам: ночные и дневные; домашние, служебные, путевые; первичные и повторные; расчленённые и групповые. Аресты различаются по степени требуемой неожиданности, по степени ожидаемого сопротивления (но в десятках миллионов случаев сопротивления никакого не ожидалось, как и не было его). Аресты различаются по серьёзности заданного обыска; по необходимости делать или не делать опись для конфискации, опечатку комнат или квартиры; по необходимости арестовывать вслед за мужем также и жену, а детей отправлять в детдом, либо весь остаток семьи в ссылку, либо ещё и стариков в лагерь.

Нет-нет, аресты очень разнообразны по форме. Ирма Мендель, венгерка, достала как-то в Коминтерне (1926) два билета в Большой театр, в первые ряды. Следователь Клегель ухаживал за ней, и она его пригласила. Очень нежно они провели весь спектакль, а после этого он повёз её… прямо на Лубянку. И если в цветущий июньский день 1927 на Кузнецком мосту полнолицую русокосую красавицу Анну Скрипникову, только что купившую себе синей ткани

на платье, какой-то молодой франт подсаживает на извозчика (а извозчик уже понимает и хмурится: *Органы* не заплатят ему) – то знайте, что это не любовное свидание, а тоже арест: они завернут сейчас на Лубянку и въедут в чёрную пасть ворот. И если (двадцать две весны спустя) кавторанг Борис Бурковский, в белом кителе, с запахом дорогого одеколона, покупает торт для девушки – не клянитесь, что этот торт достанется девушке, а не будет иссечен ножами обыскивающих и внесён кавторангом в его первую камеру. Нет, никогда у нас не был в небрежении и арест дневной, и арест в пути, и арест в кипящем многолюдье. Однако он исполняется чисто и – вот удивительно! – сами жертвы в согласии с оперативниками ведут себя как можно благороднее, чтобы не дать живущим заметить гибель обречённого.

Не всякого можно арестовывать дома с предварительным стуком в дверь (а если уж стучит, то «управдом», «почтальон»), не всякого следует арестовывать и на работе. Крупным чинам, военным или партийным, порой давали сперва новое назначение, подавали им салон-вагон, а в пути арестовывали.

Вас отводят в сторону в заводской проходной, после того как вы себя удостоверили пропуском, – и вы взяты; вас берут из военного госпиталя с температурой 39° (Анс Бернштейн), и врач не возражает против вашего ареста (попробовал бы он возразить!); вас берут прямо с операционного стола, с операции язвы желудка (Н. М. Воробьёв, инспектор крайнаробраза, 1936) – и еле живого, в крови, привозят в камеру (вспоминает Карпунич); вы (Надя Левитская) добиваетесь свидания с осуждённой матерью, вам дают его! – а это оказывается очная ставка и арест! Вас в «Гастрономе» приглашают в отдел заказов и арестовывают там; вас арестовывает странник, остановившийся у вас на ночь Христа ради; вас арестовывает монтёр, пришедший снять показания счётчика; вас арестовывает велосипедист, столкнувшийся с вами на улице; железнодорожный кондуктор, шофёр такси, служащий сберегательной кассы и киноадминистратор – все они арестовывают вас, и с опозданием вы видите глубоко запрятанное бордовое удостовереньице.

Иногда аресты кажутся даже игрой – столько положено на них избыточной выдумки, сытой энергии, а ведь жертва не сопротивлялась бы и без этого. Ведь кажется, достаточно разослать всем намеченным кроликам повестки – и они сами в назначенный час и минуту покорно явятся с узелком к чёрным железным воротам госбезопасности, чтобы занять участок пола в намеченной для них камере. (Да колхозников так и берут, неужели ещё ехать к его хате ночью по бездорожью? Его вызывают в сельсовет, там и берут.)

Политические аресты нескольких десятилетий отличались у нас именно тем, что схватывались люди ни в чём не виновные, а потому и не подготовленные ни к какому сопротивлению. Создавалось общее чувство обречённости, представление (при паспортной нашей системе довольно, впрочем, верное), что от ГПУ-НКВД убежать невозможно. Что и требовалось. Смирная овца волку по зубам.

Всеобщая невиновность порождает и всеобщее бездействие. Может, тебя ещё и *не возьмут*? Может, обойдётся? А. И. Ладыженский был ведущим преподавателем в школе захолустного Кологрива. В 37-м году на базаре к нему подошёл мужик и от кого-то передал: «Александр Иваныч, уезжай, ты в списках!» Но он остался: ведь на мне же вся школа держится, и их собственные дети у меня учатся – как же они могут меня взять?.. (Через несколько дней арестован.) Не каждому дано, как Ване Левитскому, уже в 14 лет понимать: «Каждый честный человек должен попасть в тюрьму. Сейчас сидит папа, а вырасту я – и меня посадят». (Его посадили двадцати трёх лет.) Большинство коснеет в мерцающей надежде. Раз ты невиновен – то за что же могут тебя брать? Это ошибка! Тебя уже волокут за шиворот, а ты всё заклинаешь про себя: «Это ошибка! Разберутся – выпустят!»

И зачем тебе тогда бежать?.. И как же можно тебе тогда сопротивляться?.. Ведь ты только ухудшишь своё положение, ты помешаешь разобраться в ошибке. Не то что сопротивляться – ты и по лестнице спускаешься на цыпочках, как велено, чтоб соседи не слышали.

Да мало ли что бывает на душе у свежеарестованного! – ведь это одно стоит книги. Там могут быть чувства, которых мы и не заподозрим. Когда арестовывали в 1921 году 19-летнюю Евгению Дояренко и три молодых чекиста рылись в её постели, в её комоде с бельём, она оставалась спокойна: ничего нет, ничего и не найдут. И вдруг они коснулись её интимного дневника, которого она даже матери не могла бы показать, – и это чтение её строк враждебными чужими парнями поразило её сильней, чем вся Лубянка с её решётками и подвалами. И у многих эти личные чувства и привязанности, поражаемые арестом, могут быть куда сильней политических мыслей или страха тюрьмы. Человек, внутренне не подготовленный к насилию, всегда слабей насильника.

Редкие умницы и смельчаки соображают мгновенно. Директор геологического института Академии Наук Григорьев, когда пришли его арестовывать в 1949 году, забаррикадировался и два часа жёг бумаги.

Иногда главное чувство арестованного – облегчение и даже… радость, особенно во времена арестных эпидемий: когда вокруг берут и берут таких, как ты, а за тобой всё что-то не идут, всё что-то медлят – ведь это изнеможение, это страдание хуже всякого ареста, и не только для слабой души.

«Сопротивление! Где же было ваше сопротивление?» – бранят теперь страдавших те, кто оставался благополучен.

Да, начинаться ему было отсюда, от самого ареста.

Не началось.

———

И вот – вас ведут. При дневном аресте обязательно есть этот короткий неповторимый момент, когда вас – неявно, по трусливому уговору, или совершенно явно, с обнажёнными пистолетами, – *ведут* сквозь толпу между сотнями таких же невиновных и обречённых. И рот ваш не заткнут. И вам можно и непременно надо было бы ***кричать***! Кричать, что вы арестованы! Что переодетые злодеи ловят людей! что хватают по ложным доносам! что идёт глухая расправа над миллионами! И, слыша такие выкрики много раз на день и во всех частях города, может быть, сограждане наши ощетинились бы? может, аресты не стали бы так легки?!

Но с *ваших* пересохших губ не срывается ни единого звука, и минующая толпа беспечно принимает вас и ваших палачей за прогуливающихся приятелей.

Сам я много раз имел возможность кричать.

На одиннадцатый день после моего ареста три смершевца-дармоеда, обременённые тремя чемоданами трофеев больше, чем мною, привезли меня на Белорусский вокзал Москвы. Назывались они спецконвой, на самом деле автоматы только мешали им тащить тяжелейшие чемоданы – добро, награбленное в Германии ими самими и их начальниками из контрразведки СМЕРШ 2-го Белорусского фронта и теперь отвозимое семьям в Отечество. Четвёртый чемодан безо всякой охоты тащил я, в нём везлись мои дневники и творения – улики на меня.

Они все трое не знали города, и я должен был выбирать кратчайшую дорогу к тюрьме, я сам должен был привести их на Лубянку, на которой они никогда не были (а я её путал с министерством иностранных дел).

После суток армейской контрразведки; после трёх суток в контрразведке фронтовой, где однокамерники меня уже образовали (в следовательских обманах, угрозах, битье; в том, что однажды арестованного никогда не выпускают назад; в неотклонимости *десятки*), – я чудом вот уже четыре дня еду как *вольный* и среди вольных, хотя бока мои уже лежали на гнилой соломе у параши, хотя глаза мои уже видели избитых и бессонных, уши слышали истину, рот отведал баланды – почему ж я молчу? почему ж я не просвещаю обманутую толпу в мою последнюю гласную минуту?

Я молчал в польском городе Бродницы – но может быть, там не понимают по-русски? Я ни слова не крикнул на улицах Белостока – но может быть, поляков это всё не касается? Я ни звука не проронил на станции Волковыск – но она была малолюдна. Я как ни в чём не бывало гулял с этими разбойниками по минскому перрону – но вокзал ещё разорён. А теперь я ввожу за собой смершевцев в белокупольный круглый верхний вестибюль метро «Белорусская-радиальная», он залит электричеством, и снизу вверх навстречу нам двумя параллельными эскалаторами поднимаются густо уставленные москвичи. Они, кажется, все смотрят на меня! они бесконечной лентой оттуда, из глубины незнания – тянутся, тянутся под сияющий купол ко мне хоть за словечком истины – так что ж я молчу??!..

А у каждого всегда дюжина гладеньких причин, почему он прав, что не жертвует собой.

Одни ещё надеются на благополучный исход и криком своим боятся его нарушить (ведь к нам не поступают вести из потустороннего мира, мы же не знаем, что с самого мига взятия наша судьба уже решена почти по худшему варианту и ухудшить её нельзя). Другие ещё не дозрели до тех понятий, которые слагаются в крик к толпе. Ведь это только у революционера его лозунги на губах и сами рвутся наружу, а откуда они у смирного, ни в чём не замешанного обывателя? Он просто не знает, что ему кричать. И наконец, ещё есть разряд людей, у которых грудь слишком переполнена, глаза слишком много видели, чтобы можно было выплеснуть это озеро в нескольких бессвязных выкриках.

А я – я молчу ещё по одной причине: потому, что этих москвичей, уставивших ступеньки двух эскалаторов, мне всё равно мало – ***мало***! Тут мой вопль услышат двести, дважды двести человек – а как же с двумястами миллионами?.. Смутно чудится мне, что когда-нибудь закричу я двумстам миллионам…

А пока, не раскрывшего рот, эскалатор неудержимо сволакивает меня в преисподнюю.

И ещё я в Охотном ряду смолчу.

Не крикну около «Метрополя».

Не взмахну руками на Голгофской Лубянской площади…

*** * ***

У меня был, наверно, самый лёгкий вид ареста, какой только можно себе представить. Он не вырвал меня из объятий близких, не оторвал от дорогой нам домашней жизни. Дряблым европейским февралём он выхватил меня из нашей узкой стрелки к Балтийскому морю, где окружили не то мы немцев, не то они нас, – и лишил только привычного дивизиона да картины трёх последних месяцев войны.

Комбриг вызвал меня на командный пункт, спросил зачем-то мой пистолет, я отдал, не подозревая никакого лукавства, – и вдруг из напряжённой неподвижной в углу офицерской свиты выбежали двое контрразведчиков, в несколько прыжков пересекли комнату и, четырьмя руками одновременно хватаясь за звёздочку на шапке, за погоны, за ремень, за полевую сумку, драматически закричали:

– Вы – арестованы!!

И, обожжённый и проколотый от головы к пяткам, я не нашёлся ничего умней, как:

– Я? За что?!..

Хотя на этот вопрос не бывает ответа, но вот удивительно – я его получил! Это стоит упомянуть потому, что уж слишком непохоже на наш обычай. Едва смершевцы кончили меня потрошить и, угнетаемые дрожанием стёкол от немецких разрывов, подталкивали меня скорей к выходу – раздалось вдруг твёрдое обращение ко мне – да! через этот глухой обруб между оставшимися и мною, обруб от тяжело упавшего слова «арестован», через эту чумную черту, через которую уже ни звука не смело просочиться, – перешли немыслимые, сказочные слова комбрига:

– Солженицын. Вернитесь.

И я крутым поворотом выбился из рук смершевцев и шагнул к комбригу назад. Я его мало знал, он никогда не снисходил до простых разговоров со мной. Его лицо всегда выражало для меня приказ, команду, гнев. А сейчас оно задумчиво осветилось – стыдом ли за своё подневольное участие в грязном деле? Порывом стать выше всежизненного жалкого подчинения? Десять дней назад из *мешка*, где оставался его огневой дивизион, двенадцать тяжёлых орудий, я вывел почти что целой свою разведбатарею – и вот теперь он должен был отречься от меня перед клочком бумаги с печатью?

– У вас… – веско спросил он, – есть друг на Первом Украинском фронте?

– Нельзя!.. Вы не имеете права! – закричали на полковника капитан и майор контрразведки. Испуганно сжалась свита штабных в углу, как бы боясь разделить неслыханную опрометчивость комбрига (а политотдельцы – и готовясь дать на комбрига *материал*). Но с меня уже было довольно: я сразу понял, что я арестован за переписку с моим школьным другом, и понял, по каким линиям ждать мне опасности.

И хоть на этом мог бы остановиться Захар Георгиевич Травкин! Но нет! Продолжая очищаться и распрямляться перед самим собою, он поднялся из-за стола (он никогда не вставал навстречу мне в той прежней жизни!), через чумную черту протянул мне руку (вольному, он никогда мне её не протягивал!) и, в рукопожатии, при немом ужасе свиты, с отеплённостью всегда сурового лица сказал бесстрашно, раздельно:

– Желаю вам – счастья – капитан!

Я не только не был уже капитаном, но я был разоблачённый враг народа (ибо у нас всякий арестованный уже с момента ареста и полностью разоблачён). Так он желал счастья – врагу?..

Дрожали стёкла. Немецкие разрывы терзали землю метрах в двухстах, напоминая, что *этого* не могло бы случиться там, глубже на нашей земле, под колпаком устоявшегося бытия, а только под дыханием близкой и ко всем равной смерти[2].

———

Эта книга не будет воспоминаниями о собственной жизни. Поэтому я не буду рассказывать о забавнейших подробностях моего ни на что не похожего ареста. В ту ночь смершевцы совсем отчаялись разобраться в карте (они никогда в ней и не разбирались) и с любезностями вручили её мне и просили говорить шофёру, как ехать в армейскую контрразведку. Себя и их я сам привёз в эту тюрьму и в благодарность был тут же посажен не просто в камеру, а в карцер. Но вот об этой кладовочке немецкого крестьянского дома, служившей временным карцером, нельзя упустить.

Она имела длину человеческого роста, а ширину – троим лежать тесно, а четверым – впритиску. Я как раз был четвёртым, втолкнут уже после полуночи, трое лежавших поморщились на меня со сна при свете керосиновой коптилки и подвинулись, давая место нависнуть боком и постепенно силой тяжести вклиниваться. Так на истолчённой соломке пола стало нас восемь сапог к двери и четыре шинели. Они спали, я пылал. Чем самоуверенней я был капитаном полдня назад, тем больней было защемиться на дне этой каморки. Раз-другой ребята просыпались от затеклости бока, и мы разом переворачивались.

К утру они отоспались, зевнули, крякнули, подобрали ноги, рассунулись в разные углы – и началось знакомство.

– А ты за что?

---

[2] И вот удивительно: человеком всё-таки ***можно*** быть! – Травкин не пострадал. Недавно мы с ним радушно встретились и познакомились впервые. Он – генерал в отставке и ревизор в Союзе охотников.

Но смутный ветерок настороженности уже опахнул меня под отравленной кровлею СМЕРШа, и я простосердечно удивился:

– Понятия не имею. Рази ж говорят, гады?

Однако сокамерники мои – танкисты в чёрных мягких шлемах – не скрывали. Это были три честных, три немудрящих солдатских сердца – род людей, к которым я привязался за годы войны, будучи сам и сложнее и хуже. Все трое они были офицерами. Погоны их тоже были сорваны с озлоблением, кое-где торчало и нитяное мясо. На замызганных гимнастёрках светлые пятна были следы свинченных орденов, тёмные и красные рубцы на лицах и руках – память ранений и ожогов. Их дивизион, на беду, пришёл ремонтироваться сюда, в ту же деревню, где стояла контрразведка СМЕРШ 48-й армии. Отволгнув от боя, который был позавчера, они вчера выпили и на задворках деревни вломились в баню, куда, как они заметили, пошли мыться две забористые девки. От их плохопослушных пьяных ног девушки успели, полуодевшись, ускакать. Но оказалась одна из них не чья-нибудь, а – начальника контрразведки армии.

Да! Три недели уже война шла в Германии, и все мы хорошо знали: окажись девушки немки – их можно было изнасиловать, следом расстрелять, и это было бы почти боевое отличие; окажись они польки или наши угнанные русачки – их можно было бы, во всяком случае, гонять голыми по огороду и хлопать по ляжкам – забавная шутка, не больше. Но поскольку эта была «походно-полевая жена» начальника контрразведки – с трёх боевых офицеров какой-то тыловой сержант сейчас же злобно сорвал погоны, утверждённые приказом по фронту, снял ордена, выданные Президиумом Верховного Совета, – и теперь этих вояк, прошедших всю войну и смявших, может быть, не одну линию вражеских траншей, ждал суд военного трибунала, который без их танка ещё б и не добрался до этой деревни.

Коптилку мы погасили, и так уж она сожгла всё, чем нам тут дышать. В двери был прорезан волчок величиной с почтовую открытку, и оттуда падал непрямой свет коридора. Будто беспокоясь, что с наступлением дня нам в карцере станет слишком просторно, к нам тут же *подкинули* пятого. Он вшагнул в новенькой красноармейской шинели, шапке тоже новой и, когда стал против волчка, явил нам курносое свежее лицо с румянцем во всю щеку.

– Откуда, брат? Кто такой?

– С *той* стороны, – бойко ответил он. – Шпиён.

– Шутишь? – обомлели мы. (Чтобы шпион, и сам об этом говорил – так никогда не писали Шейнин и братья Тур!)

– Какие могут быть шутки в военное время! – рассудительно вздохнул паренёк. – А как из плена домой вернуться? – ну научите.

Он едва успел начать нам рассказ, как его сутки назад немцы перевели через фронт, чтоб он тут шпионил и рвал мосты, а он тотчас же пошёл в ближайший батальон сдаваться, и бессонный измотанный комбат никак ему не верил, что он шпион, и посылал к сестре выпить таблеток, – вдруг новые впечатления ворвались к нам:

– На оправку! Руки назад! – звал через распахнувшуюся дверь старшина-лоб, вполне бы годный перетягивать хобот 122-миллиметровой пушки.

По всему крестьянскому двору уже расставлено было оцепление автоматчиков, охранявшее указанную нам тропку в обход сарая. Я взрывался от негодования, что какой-то невежа-старшина смел командовать нам, офицерам, «руки назад», но танкисты взяли руки назад, и я пошёл вослед.

За сараем был маленький квадратный загон с ещё не стаявшим утоптанным снегом – и весь он был загажен кучками человеческого кала, так беспорядочно и густо по всей площади, что нелегка была задача – найти, где бы поставить две ноги и присесть. Всё же мы разобрались и в разных местах присели все пятеро. Два автоматчика угрюмо выставили против нас, низко присевших, автоматы, а старшина, не прошло минуты, резко понукал:

– Ну, поторапливайся! У нас быстро оправляются!

Невдалеке от меня сидел один из танкистов, ростовчанин, рослый хмурый старший лейтенант. Лицо его было зачернено налётом металлической пыли или дыма, но большой красный шрам через щеку хорошо на нём заметен.

– Где это – у вас? – тихо спросил он, не выказывая намерения торопиться в карцер, пропахший керосином.

– В контрразведке СМЕРШ! – гордо и звончей чем требовалось отрубил старшина. (Контрразведчики очень любили это безвкусно сляпанное – из «смерть шпионам» – слово. Они находили его пугающим.)

– А у нас – медленно, – раздумчиво ответил старший лейтенант. Его шлем сбился назад, обнажая на голове ещё не состриженные волосы. Его одубелая фронтовая задница была подставлена приятному холодному ветерку.

– Где это – у вас? – громче чем нужно гавкнул старшина.

– В Красной армии, – очень спокойно ответил старший лейтенант с корточек, меряя взглядом несостоявшегося хоботного.

Таковы были первые глотки моего тюремного дыхания.

Глава 2. История нашей канализации

Когда теперь бранят *произвол культа*, то упираются всё снова и снова в настрявшие 1937—38 годы. И так это начинает запоминаться, как будто ни *до* не сажали, ни *после*, а только вот в 37—38-м.

Не боюсь, однако, ошибиться, сказав: *поток* 37—38-го ни единственным не был, ни даже главным, а только, может быть, – одним из трёх самых больших потоков, распиравших мрачные зловонные трубы нашей тюремной канализации.

До него был поток 29—30-го годов, с добрую Обь, протолкнувший в тундру и тайгу миллионов пятнадцать мужиков (а как бы и не поболе). Но мужики – народ бессловесный, бесписьменный, ни жалоб не написали, ни мемуаров. С ними и следователи по ночам не корпели, на них и протоколов не тратили – довольно и сельсоветского постановления. Пролился этот поток, всосался в вечную мерзлоту, и даже самые горячие умы о нём почти не вспоминают. Как если бы русскую совесть он даже и не поранил. А между тем не было у Сталина (и у нас с вами) преступления тяжелей.

И после был поток 44—46-го годов, с добрый Енисей: гнали по сточным трубам целые нации и ещё миллионы и миллионы – побывавших в плену, увезенных в Германию и вернувшихся потом. Но и в этом потоке народ был больше простой и мемуаров не написал.

А поток 37-го года прихватил и понёс на Архипелаг также и людей с положением, людей с партийным прошлым, людей с образованием, да вокруг них много пораненных осталось в городах, и сколькие с пером! – и все теперь вместе пишут, говорят, вспоминают: тридцать седьмой! Волга народного горя!

А скажи крымскому татарину, калмыку или чечену «тридцать седьмой» – он только плечами пожмёт. А Ленинграду что тридцать седьмой, когда прежде был тридцать пятый? А *повторникам* или прибалтам не тяжче был 48—49-й? И если попрекнут меня ревнители стиля и географии, что ещё упустил я в России реки, так и потоки ещё не названы, дайте страниц! Из потоков и остальные сольются.

* * *

В этом перечне труднее всего начать…

По смыслу и духу революции легко догадаться, что в первые её месяцы наполнялись Кресты, Бутырки и многие родственные им провинциальные тюрьмы – крупными богачами; видными общественными деятелями, генералами и офицерами; да чиновниками министерств и всего государственного аппарата, не выполняющими распоряжений новой власти.

Однако В. И. Ленин ставил задачу и шире. В статье «Как организовать соревнование» (7—10 января 1918) он провозгласил общую единую цель «*очистки* земли российской от всяких вредных насекомых». И под *насекомыми* он понимал не только всех классово-чуждых, но также и «рабочих, отлынивающих от работы», например наборщиков питерских партийных типографий. (Вот что делает даль времени. Нам сейчас и понять трудно, как это рабочие, едва став *диктаторами*, тут же склонились отлынивать от работы на себя самих.) Правда, формы очистки от насекомых Ленин в этой статье предвидел разнообразные: где посадят, где поставят чистить сортиры, где «по отбытии карцера выдадут жёлтые билеты», где *расстреляют тунеядца*[3].

Насекомыми были, конечно, земцы. Насекомыми были кооператоры. Все домовладельцы. Немало насекомых было среди гимназических преподавателей. Насекомыми были все

[3] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч.: В 55 т. – М.: Гос. изд-во политич. лит., 1958–1965. – Т. 35. – С. 203, 204.

священники, а тем более – все монахи и монахини. Очень много насекомых скрывалось под железнодорожной формой, и их необходимо было *выдёргивать*, а кого и *шлёпать*. А телеграфисты, те почему-то в массе своей были заядлые насекомые, несочувственные к Советам.

Даже те группы, что мы перечислили, вырастают уже в огромное число – на несколько лет очистительной работы.

А сколько всяких окаянных интеллигентов, неприкаянных студентов, разных чудаков, правдоискателей и юродивых, от которых ещё Пётр I тщился очистить Русь и которые всегда мешают стройному строгому Режиму?

И невозможно было бы эту санитарную очистку произвести, да ещё в условиях войны, если бы пользовались устарелыми процессуальными формами и юридическими нормами. Но форму приняли совсем новую: *внесудебную расправу*, и неблагодарную эту работу самоотверженно взвалила на себя Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) – Часовой Революции, единственный в человеческой истории карательный орган, совместивший в одних руках: слежку, арест, следствие, прокуратуру, суд и исполнение решения.

В 1918 году, чтобы ускорить также и культурную победу революции, начали потрошить и вытряхивать мощи святых угодников и отбирать церковную утварь. В защиту разоряемых церквей и монастырей вспыхивали народные волнения. Там и сям колоколили набаты, и православные бежали, кто и с палками. Естественно, приходилось кого *расходовать* на месте, а кого арестовывать.

Размышляя теперь над 1918—20 годами, затрудняемся мы: относить ли к тюремным потокам всех тех, кого *расшлёпали*, не доведя до тюремной камеры? И в какую графу всех тех, кого комбеды *убирали* за крылечком сельсовета или на дворовых задах?

Немалая трудность и решить: сюда ли, в тюремные потоки, или в баланс Гражданской войны отнести десятки тысяч *заложников*, этих ни в чём лично не обвинённых и даже карандашом по фамилиям не переписанных мирных жителей, взятых на уничтожение во страх и в месть военному врагу или восставшей массе? Это так открыто и объяснялось (Лацис, газета «Красный террор», 1 ноября 1918): «Мы не ведём войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против Советов. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, – к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом – смысл и сущность красного террора».

———

Ещё с весны 1918 полился многолетний непрерываемый поток изменников-социалистов. Все эти партии – эсеров, меньшевиков, анархистов, народных социалистов, они десятилетиями только притворялись революционерами, только носили личину – и на каторгу для этого шли, всё притворялись. И лишь в порывистом ходе революции сразу обнаружилась буржуазная сущность этих социал-предателей. Естественно же было приступить к их арестам! Ни один гражданин российского государства, когда-либо вступивший в иную партию, не в большевики, уже судьбы своей не избежал, он был обречён (если не успевал по доскам крушения перебежать в коммунисты). Он мог быть арестован не в первую очередь, он мог дожить до 1922, до 32-го или даже до 37-го года, но списки хранились, очередь шла, очередь доходила, его арестовывали или только любезно приглашали и задавали единственный вопрос: состоял ли он… от… до…? Дальше разная могла быть судьба. Иные попадали сразу в один из знаменитых царских централов (счастливым образом централы все хорошо сохранились). Иным предлагали проехать в ссылку – о, ненадолго, годика на два, на три. А то ещё мягче: только получить *минус* (столько-

то городов), выбрать самому себе местожительство, но уж дальше, будьте ласковы, жить в этом месте прикреплённо и ждать воли ГПУ.

Операция эта растянулась на многие годы. Это был грандиозный беззвучный пасьянс, правила которого были совершенно непонятны современникам. Чьи-то аккуратные руки, не пропуская ни мига, подхватывали карточку, отбывшую три года в одной кучке, и мягко перекладывали её в другую кучку. Тот, кто посидел в централе, – переводился в ссылку (и куда-нибудь подальше), кто отбыл «минус» – в ссылку же (но за пределами видимости от «минуса»), из ссылки – в ссылку, потом снова в централ (уже другой); терпение и терпение господствовало у раскладывающих пасьянс. (Короленко писал Горькому 29.6.1921: «История когда-нибудь отметит, что с искренними революционерами и социалистами большевистская революция расправлялась теми же средствами, как и царский режим». О, если бы только так! – они бы все выжили.)

В этой операции Большой Пасьянс было уничтожено большинство старых политкаторжан.

———

Весной 1922 года Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, только что переназванная в ГПУ, решила вмешаться в церковные дела. Надо было произвести ещё и «церковную революцию» – сменить руководство и поставить такое, которое лишь одно ухо наставляло бы к небу, а другое к Лубянке. Такими обещали стать живоцерковники, но без внешней помощи они не могли овладеть церковным аппаратом. Для этого арестован был Патриарх Тихон и проведены два громких процесса с расстрелами: в Москве – распространителей патриаршего воззвания, в Петрограде – митрополита Вениамина, мешавшего переходу церковной власти к живоцерковникам. В губерниях и уездах там и здесь арестованы были митрополиты и архиереи, а уж за крупной рыбой, как всегда, шли косяки мелкой – протоиереи, монахи и дьяконы, о которых в газетах не сообщалось. Сажали тех, кто не присягал живоцерковному обновленческому напору.

Священнослужители текли обязательной частью каждодневного улова, серебряные седины их мелькали в каждой камере, а затем и в каждом соловецком этапе.

Интенсивно изымались, сажались и ссылались монахи и монашенки, так зачернявшие прежнюю русскую жизнь. Круги всё расширялись – и вот уже гребли просто верующих мирян, старых людей, особенно женщин, которые верили упорнее и которых теперь на пересылках и в лагерях на долгие годы тоже прозвали *монашками*.

Правда, считалось, что арестовывают и судят их будто бы не за самую веру, но за высказывание своих убеждений вслух и за воспитание в этом духе детей. Как написала Таня Ходкевич:

Молиться можешь ты *свободно*,
Но… так, чтоб слышал Бог один.

(За это стихотворение она получила десять лет.) Человек, верящий, что он обладает духовной истиной, должен скрывать её от… своих детей!! Всем религиозным давали десятку, высший тогда срок.

———

Годы идут, и неосвежаемое всё стирается из нашей памяти. В обёрнутой дали 1927 год воспринимается нами как беспечный сытый год ещё необрубленного НЭПа. А был он – напря-

жённый, содрогался от газетных взрывов и воспринимался у нас, внушался у нас как канун войны за мировую революцию. Убийству советского полпреда Войкова в Варшаве[4], залившему целые полосы июньских газет, Маяковский посвятил четыре громовых стихотворения.

Спайкой, стройкой, выдержкой и *расправой*
Спущенной своре шею сверни!

С кем же расправиться? кому свернуть шею? Вот тут-то и начинается *войковский набор*. Как всегда, при всяких волнениях и напряжениях сажают *бывших*, сажают анархистов, эсеров, меньшевиков, а и просто так интеллигенцию.

Удобное мировоззрение рождает и удобный юридический термин: *социальная профилактика*. Он введен, он принят, он сразу всем понятен. (Один из начальников Беломорстроя Лазарь Коган так и будет скоро говорить: «Я верю, что лично вы ни в чём не виноваты. Но, образованный человек, вы же должны понимать, что проводилась широкая социальная профилактика!»)

И в Москве начинается планомерная проскрёбка квартала за кварталом. Повсюду кто-то должен быть взят. К Лубянке, к Бутыркам устремляются даже днём воронк*и*, легковые автомобили, крытые грузовики, открытые извозчики. Затор в воротах, затор во дворе. Арестованных не успевают разгружать и регистрировать. (Это – и в других городах. В Ростове-на-Дону в подвале Тридцать Третьего Дома в эти дни уже такая теснота на полу, что новоприбывшей Бойко еле находится место сесть.)

Типичный пример из этого потока: несколько десятков молодых людей сходятся на какие-то музыкальные вечера, не согласованные с ГПУ. Они слушают музыку, а потом пьют чай. Деньги на этот чай по сколько-то копеек они самовольно собирают в складчину. Совершенно ясно, что музыка – прикрытие их контрреволюционных настроений, а деньги собираются вовсе не на чай, а на помощь погибающей мировой буржуазии. И их арестовывают *всех*, дают от трёх до десяти лет (Анне Скрипниковой – пять), а несознавшихся зачинщиков (Иван Николаевич Варенцов и другие) – расстреливают!

Только размерами СЛОНа – Соловецкого Лагеря Особого Назначения – ещё пока умеряется объём войковского набора. Но уже начал свою злокачественную жизнь Архипелаг ГУЛАГ и скоро разошлёт метастазы по всему телу страны.

———

Давно приходит пора сокрушить интеллигенцию техническую, слишком считающую себя незаменимой и не привыкшую подхватывать приказания на лету.

Эта оздоровительная работа полным ходом пошла с 1927 года и сразу въявь показала пролетариату все причины наших хозяйственных неудач и недостач. Железные дороги – вредительство (вот и трудно на поезд попасть). Электростанции – вредительство (перебои со светом). Нефтяная промышленность – вредительство (керосина не достанешь). Текстильная – вредительство (не во что одеться рабочему человеку). Угольная – колоссальное вредительство (вот почему мёрзнем)! Металлическая, военная, машиностроительная, судостроительная, химическая, горнорудная, золотоплатинная, ирригация – всюду гнойные нарывы вредительства! со всех сторон – враги с логарифмическими линейками! ГПУ запыхалось хватать и таскать вре-

[4] Видимо, монархист Борис Коверда мстил Войкову персонально: уральский облкомпрод П. Л. Войков в июле 1918 руководил расстрелом царской семьи и затем уничтожением следов расстрела (разрубкой и распилкой трупов, сожжением и сбросом пепла).

дителей. Каждая отрасль, каждая фабрика и кустарная артель должны были искать у себя вредительство и, едва начинали, – тут же и находили (с помощью ГПУ).

И какие же изощрённые злодеи были эти старые инженеры, как же по-разному сатанински умели они вредить! Николай Карлович фон Мекк в Наркомпути притворялся очень преданным строительству новой экономики, мог подолгу с оживлением говорить об экономических проблемах строительства социализма и любил давать советы. Один такой самый вредный его совет был: увеличить товарные составы, не бояться тяжелогруженых. Посредством ГПУ фон Мекк был разоблачён (и расстрелян): он хотел добиться износа путей, вагонов и паровозов и оставить Республику на случай интервенции без железных дорог! Когда же, малое время спустя, новый Наркомпути товарищ Каганович распорядился пускать именно тяжелогруженые составы, и даже вдвое и втрое сверхтяжёлые (и за это открытие он и другие руководители получили ордена Ленина), – то злостные инженеры выступили теперь в виде *предельщиков* – они вопили, что это слишком, что это губительно изнашивает подвижной состав, и были справедливо расстреляны за неверие в возможности социалистического транспорта.

Ну, в несколько лет сломали хребет старой русской инженерии, составлявшей славу нашей страны, излюбленным героям Гарина-Михайловского и Замятина.

В 1928 году в Москве слушается громкое Шахтинское дело[5] – громкое по публичности, по ошеломляющим признаниям и самобичеванию подсудимых (ещё пока не всех). Через два года, в сентябре 1930, с треском судятся *организаторы голода* (они! они! Вот они!) – 48 вредителей в пищевой промышленности. В конце 1930 проводится ещё громче и уже безукоризненно отрепетированный процесс «Промпартии»[6]: тут уже все подсудимые до единого взваливают на себя любую омерзительную чушь. На эти процессы выводится лишь небольшая доля посаженных, лишь те, кто соглашается противоестественно оговаривать себя и других в надежде на послабление. Большинство же инженеров, кто имел мужество и разум отвергнуть следовательскую несуразицу, – те судятся неслышно, но лепятся и им – несознавшимся – те же *десятки* от коллегии ГПУ.

Потоки льются под землёю, по трубам, они канализируют поверхностную цветущую жизнь.

Именно с этого момента предпринят важный шаг ко всенародному участию в канализации, ко всенародному распределению ответственности за неё: те, кто своими телами ещё не грохнулись в канализационные люки, кого ещё не понесли трубы на Архипелаг, – те должны ходить поверху со знамёнами, славить суды и радоваться судебным расправам.

И вот по заводам и учреждениям, опережая решение суда, рабочие и служащие гневно голосуют за смертную казнь негодяям подсудимым. А уже к «Промпартии» – это всеобщие митинги, это демонстрации (с прихватом и школьников), это печатный шаг миллионов и рёв за стёклами судебного здания: «Смерти! Смерти! Смерти!»

На этом изломе нашей истории раздавались одинокие голоса протеста или воздержания – очень, очень много мужества надо было в том хоре и рёве, чтобы сказать «нет!». На собрании ленинградского Политехнического института профессор Дмитрий Аполлинарьевич Рожанский *воздержался* (он, видите, вообще противник смертной казни, это, видите ли, на языке науки – необратимый процесс) – и тут же посажен! Студент Дима Олицкий – воздержался, и тут же посажен! И все эти протесты заглохли при самом начале.

---

[5] «Дело об экономической контрреволюции в Донбассе». Обвинены во вредительстве 53 человека. Пятеро расстреляны, четверо оправданы, остальные получили сроки от 1 до 10 лет. В 2000 году все осуждённые по Шахтинскому делу реабилитированы за отсутствием состава преступления. – *Примеч. ред.*

[6] Процесс «Промпартии» (25 ноября – 7 дек. 1930) – дело о «вредительстве» в промышленности, организованном инженерами и учёными, якобы создавшими подпольную «Промышленную партию» и «Союз инженерных организаций». Из восьми обвиняемых пятеро приговорены к расстрелу с заменой на 10 лет, трое – к 8 годам лишения свободы. – *Примеч. ред.*

И подходит, медленно, но подходит очередь садиться в тюрьму членам правящей партии! Пока (1927—29) это – «рабочая оппозиция»[7] или троцкисты, избравшие себе неудачного лидера. Их пока – сотни, скоро будут – тысячи. Но лиха беда начало. Всем свой черёд. Членик за членником прожевав с хвоста, доберётся пасть и до собственной головы.

———

Так пузырились и хлестали потоки – но черезо всех перекатился и хлынул в 1929—30 годах многомиллионный поток *раскулаченных*. Он был непомерно велик, и не вместила б его даже развитая сеть следственных тюрем, но он миновал её, он сразу шёл на пересылки, в этапы, в страну ГУЛАГ. Он не имел ничего сравнимого с собой во всей истории России. Это было народное переселение, этническая катастрофа. Но так умно были разработаны каналы ГПУ – ГУЛАГа, что города ничего б и не заметили! – если б не потрясший их трёхлетний странный голод – голод без засухи и без войны.

Поток этот отличался от всех предыдущих ещё и тем, что здесь не цацкались брать сперва главу семьи, а там посмотреть, как быть с остальной семьёй. Напротив, здесь сразу выжигали только гнёздами, брали только семьями и даже ревниво следили, чтобы никто из детей четырнадцати, десяти или шести лет не отбился бы в сторону: все наподскрёб должны были идти в одно место, на одно общее уничтожение. (Это был ***первый*** такой опыт, во всяком случае в Новой истории. Его потом повторит Гитлер с евреями и опять же Сталин с неверными или подозреваемыми нациями.)

Поток этот ничтожно мало содержал в себе тех «кулаков», по которым назван был для отвода глаз. «Кулаком» называется по-русски прижимистый бесчестный сельский переторговщик, который богатеет не своим трудом, а чужим, через ростовщичество и посредничество в торговле. Таких в каждой местности и до революции-то были единицы, а революция вовсе лишила их почвы для деятельности.

Но раздувание хлёсткого термина «кулак» шло неудержимо, и к 1930 году так звали уже вообще всех крепких крестьян – крепких в хозяйстве, крепких в труде и даже просто в своих убеждениях. Кличку «кулак» использовали для того, чтобы размозжить в крестьянстве *крепость*. Как озверев, потеряв всякое представление о «человечестве», потеряв людские понятия, набранные за тысячелетия, – лучших хлеборобов стали схватывать вместе с семьями и безо всякого имущества, голыми, выбрасывать в северное безлюдье, в тундру и в тайгу.

Но и из деревни коллективизированной полились новые потоки:

– поток *вредителей* сельского хозяйства. Повсюду стали раскрываться агрономы-вредители, до этого года всю жизнь работавшие честно, а теперь умышленно засоряющие русские поля сорняками;

– поток «за невыполнение государственных обязательств по хлебосдаче» (райком обязался, а колхоз не выполнил – садись!);

– поток *стригущих колоски.* Ночная ручная стрижка колосков в поле! – совершенно новый вид сельского занятия и новый вид уборки урожая! За это горькое и малоприбыльное занятие (в крепостное время крестьяне не доходили до такой нужды!) суды отвешивали сполна: 10 лет как за опаснейшее хищение социалистической собственности по знаменитому закону от 7 августа 1932 года (в арестантском просторечии *закон семь восьмых*).

[7] Внутрипартийная оппозиция, которая выступала за передачу управления народным хозяйством профсоюзам и упрекала партийное руководство в перерождении и отрыве от масс. Существовала с конца 1919 по 1922 год, когда была разгромлена на IX съезде партии. Из всех вождей «рабочей оппозиции» после 1937 года в живых осталась одна А. М. Коллонтай (ставшая первой в мире женщиной-послом). – *Примеч. ред.*

Но наконец-то мы можем и передохнуть! Наконец-то сейчас и прекратятся все массовые потоки! – товарищ Молотов сказал 17 мая 1933: «Мы видим нашу задачу не в массовых репрессиях». Фу-у-уф, да и пора бы. Прочь ночные страхи! Но что за лай собак? Ату! Ату!

Во-ка! Это начался *Кировский* поток из Ленинграда, где напряжённость признана настолько великой, что штабы НКВД созданы при каждом райисполкоме города, а судопроизводство введено «ускоренное» (оно и раньше не поражало медлительностью) и без права обжалования (оно и раньше не обжаловалось). Считается, что четверть Ленинграда была *расчищена* в 1934—35[8].

* * *

Парадоксально: всей многолетней деятельности всепроникающих и вечно бодрствующих Органов дала силу всего-навсего *одна* статья из ста сорока восьми статей необщего раздела Уголовного кодекса 1926 года.

Воистину, нет такого поступка, помысла, действия или бездействия под небесами, которые не могли бы быть покараны тяжёлой дланью Пятьдесят Восьмой статьи.

58-я статья состояла из четырнадцати пунктов[9].

Но никакой пункт 58-й статьи не толковался так расширительно и с таким горением революционной совести, как *Десятый*. Звучание его было: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти… а равно и распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания». И оговаривал этот пункт в *мирное* время только *нижний* предел наказания (не ниже! не слишком мягко!), верхний же ***не ограничивался***!

Таково было бесстрашие великой Державы перед ***словом*** подданного.

Пункт *Одиннадцатый* был особого рода: он не имел самостоятельного содержания, а был отягощающим довеском к любому из предыдущих, если деяние готовилось организационно или преступники вступали в организацию.

На самом деле пункт расширялся так, что никакой организации не требовалось. Это изящное применение пункта я испытал на себе. Нас было *двое*, тайно обменивавшихся мыслями, – *то есть* зачатки организации, *то есть* организация! (Впрочем, второй из нас этого довеска не получил.)

А пункт *Двенадцатый* наиболее касался совести граждан: это был пункт о *недонесении* в любом из перечисленных деяний. И за тяжкий грех недонесения ***наказание не имело верхней границы***!!

Этот пункт уже был столь всеохватным расширением, что дальнейшего расширения не требовал. *Знал и не сказал* – всё равно что сделал сам!

* * *

Булатная сталь 58-й статьи, опробованная в 1927, – с полным свистом и размахом была применена в атаке Закона на Народ в 1937—38 годах.

---

[8] «Кировский поток» – 1 декабря 1934 года был убит в Смольном С. М. Киров, первый секретарь Ленинградского горкома партии, член Политбюро. Последовали массовые репрессии: в декабре 1934 были расстреляны 14 «внутрипартийных оппозиционеров», в январе и феврале 1935 – арестовано около тысячи партийцев, в течение 1935 года были проведены и паспортные «чистки», массовая высылка из Ленинграда и области. – *Примеч. ред.*

[9] Обзор всех пунктов 58-й статьи см. в полном тексте «Архипелага ГУЛАГа». – *Примеч. ред.*

Осенью, когда к двадцатилетию Октября ожидалась с верою всеобщая великая амнистия, шутник Сталин добавил в Уголовный кодекс невиданные новые сроки – 15, 20 и 25 лет.

Нет нужды повторять здесь о 37-м годе то, что уже широко написано и ещё будет многократно повторено: что был нанесен крушащий удар по верхам партии, советского управления, военного командования и верхам самого ГПУ – НКВД. Вряд ли в какой области сохранился первый секретарь обкома или председатель облисполкома – Сталин подбирал себе более удобных.

И вот как бывало, картинка тех лет. Идёт (в Московской области) районная партийная конференция. Её ведёт новый секретарь райкома вместо недавно посаженного. В конце конференции принимается обращение преданности товарищу Сталину. Разумеется, все встают (как и по ходу конференции все вскакивали при каждом упоминании его имени). В маленьком зале хлещут «бурные аплодисменты, переходящие в овацию». Три минуты, четыре минуты, пять минут они всё ещё бурные и всё ещё переходящие в овацию. Но уже болят ладони. Но уже затекли поднятые руки. Но уже задыхаются пожилые люди. Но уже это становится нестерпимо глупо даже для тех, кто искренно обожает Сталина. Однако: кто же *первый* осмелится прекратить? Ведь здесь, в зале, стоят и аплодируют энкаведисты, они-то следят, *кто* покинет первый!.. И аплодисменты в безвестном маленьком зале, безвестно для вождя продолжаются 6 минут! 7 минут! 8 минут!.. Они погибли! Они пропали! Они уже не могут остановиться, пока не падут с разорвавшимся сердцем! Директор местной бумажной фабрики, независимый сильный человек, стоит в президиуме и, понимая всю ложность, всю безвыходность положения, аплодирует! – 9-ю минуту! 10-ю! Он смотрит с тоской на секретаря райкома, но тот не смеет бросить. Безумие! Повальное! И директор бумажной фабрики на 11-й минуте принимает деловой вид и опускается на своё место в президиуме. И – о, чудо! – куда делся всеобщий несдержанный неописуемый энтузиазм? Все разом на том же хлопке прекращают и тоже садятся. Они спасены! Белка догадалась выскочить из колеса!..

Однако вот так-то и узнают независимых людей. Вот так-то их и изымают. В ту же ночь директор фабрики арестован. Ему легко мотают совсем по другому поводу десять лет. Но после подписания 206-й (заключительного следственного протокола) следователь напоминает ему:

– И никогда не бросайте аплодировать первый!

(А как же быть? А как же нам остановиться?..)

Вот это и есть отбор по Дарвину. Вот это и есть изматывание глупостью.

В прошлых потоках не забывали интеллигенцию, не забывают её и теперь. Достаточно студенческого доноса, что их вузовский лектор цитирует всё больше Ленина и Маркса, а Сталина не цитирует – и лектор уже не приходит на очередную лекцию. А если он *вообще не цитирует?..* Садятся все ленинградские востоковеды среднего и младшего поколения. Садится весь состав Института Севера. Не брезгуют и преподавателями школ. В Свердловске создано дело тридцати преподавателей средних школ во главе с их завоблоно Перелем, одно из ужасных обвинений: устраивали в школах ёлки *для того, чтобы жечь школы*![10]

Вдогонку главным потокам – ещё *спец*поток: жёны, Че-эСы (члены семьи). *Чеэсам*, как правило, всем по *восьмёрке.*

– У маркшейдера Николая Меркурьевича Микова из-за какого-то нарушения в пластах не сошлись два встречных забоя. 58-7, 20 лет!

– у техника-электрика оборвался на его участке провод высокого напряжения. 58-7, 20 лет;

[10] Из них пятеро замучены на следствии, умерли до суда. Двадцать четыре умерли в лагерях. Тридцатый – Иван Аристаулович Пунич, вернулся, реабилитирован. (Умри и он, мы пропустили бы здесь всех этих тридцать, как и пропускаем миллионы.) Многочисленные «свидетели» по их делу – сейчас в Свердловске и благоденствуют: номенклатурные работники, персональные пенсионеры. Дарвиновский отбор.

– водопроводчик выключал в своей комнате репродуктор всякий раз, как передавались бесконечные письма Сталину. Сосед донёс, социально-опасный элемент, СОЭ, 8 лет;

– полуграмотный печник любил в свободное время *расписываться* – это возвышало его перед самим собой. Бумаги чистой не было, он расписывался на газетах. Его газету с росчерками по лику Отца и Учителя соседи обнаружили в мешочке в коммунальной уборной. АСА, антисоветская агитация, 10 лет.

Аресты катились по улицам и домам эпидемией. Груды жертв! Холмы жертв! Фронтальное наступление НКВД: у С. П. Матвеевой в одну и ту же волну, но по разным «делам» арестовали мужа и трёх братьев (и трое из четверых никогда не вернутся).

А разделение было прежнее: воронк*и* – ночью, демонстрации – днём.

Ну кто заметил в 40-м году поток жён за *неотказ* от мужей? Ну кто там помнит и в самом Тамбове, что в этом мирном году посадили целый джаз, игравший в кино «Модерн», так как все они оказались врагами народа?

Да позвольте, да не в 39-м ли году мы протянули руку помощи западным украинцам, западным белорусам, а затем в 40-м и Прибалтике, и молдаванам? Наши братья совсем-таки оказались не чищенные, и потекли оттуда потоки *социальной профилактики* – в северную ссылку, в среднеазиатскую – и это были многие, многие сотни тысяч.

———

В финскую войну был первый опыт: судить наших сдавшихся пленников как изменников Родине. Первый опыт в человеческой истории! – а ведь вот поди ж ты, мы не заметили!

Отрепетировали – и как раз грянула война, а с нею – грандиозное отступление. В Литве были в поспешности оставлены целые воинские части, полки, зенитные и артиллерийские дивизионы, – но управились вывезти несколько тысяч семей неблагонадёжных литовцев. Забыли вывезти целые крепости, как Брестскую, но не забывали расстреливать политзаключённых в камерах и дворах Львовской, Ровенской, Таллинской и многих западных тюрем. В Тартуской тюрьме расстреляли 192 человека, трупы бросали в колодезь.

В 1941 немцы так быстро обошли и отрезали Таганрог, что на станции в товарных вагонах остались заключённые, подготовленные к эвакуации. Что делать? Не освобождать же. И не отдавать немцам. Подвезли цистерны с нефтью, полили вагоны, а потом подожгли. Все сгорели заживо.

В тылу первый же военный поток был – *распространители слухов и сеятели паники*. Затем был поток не сдавших радиоприёмники или радиодетали. За одну найденную (по доносу) радиолампу давали 10 лет.

Тут же был и поток *немцев* – немцев Поволжья, колонистов с Украины и Северного Кавказа, и всех вообще немцев, где-либо в Советском Союзе живших. Определяющим признаком была кровь, и даже герои Гражданской войны и старые члены партии, но немцы – шли в эту ссылку.

С конца лета 1941, а ещё больше осенью хлынул поток *окруженцев*. Это были защитники отечества, те самые, кого несколько месяцев назад наши города провожали с оркестрами и цветами, кому после этого досталось встретить тяжелейшие танковые удары немцев и, в общем хаосе и не по своей совсем вине, побывать не в плену, нет! – а боевыми разрозненными группами сколько-то времени провести в немецком окружении и выйти оттуда. И, вместо того чтобы братски обнять их на возврате (как сделала бы всякая армия мира), дать отдохнуть, а потом вернуться в строй, – их везли в подозрении, под сомнением, бесправными обезоруженными командами – на пункты проверки и сортировки, где офицеры Особых Отделов начинали с полного недоверия каждому их слову и даже – те ли они, за кого себя выдают.

С 1943, когда война переломилась в нашу пользу, начался, и с каждым годом до 1946 всё обильней, многомиллионный поток с оккупированных территорий и из Европы. Две главные его части были:

– гражданские, побывавшие под немцами;

– военнослужащие, побывавшие в плену.

Каждый оставшийся под оккупацией хотел всё-таки жить и поэтому действовал, и поэтому теоретически мог вместе с ежедневным пропитанием заработать себе и будущий состав преступления: если уж не измену родине, то хотя бы пособничество врагу.

Горше и круче судили тех, кто побывал в Европе, хотя бы германским рабом, потому что он видел кусочек европейской жизни и мог рассказывать о ней, а рассказы эти, и всегда нам неприятные, были зело неприятны в годы послевоенные, разорённые, неустроенные.

По этой-то причине, а вовсе не за простую сдачу в плен и судили большинство наших военнопленных – особенно тех из них, кто повидал на Западе чуть больше смертного немецкого лагеря.

Среди общего потока освобождённых из-под оккупации один за другим прошли быстро и собранно потоки провинившихся наций:

в 1943 – калмыки, чечены, ингуши, балкары, карачаевцы;

в 1944 – крымские татары.

Так энергично и быстро они не пронеслись бы на свою вечную ссылку, если бы на помощь Органам не пришли бы регулярные войска и военные грузовики. Воинские части бравым кольцом окружали аулы, и угнездившиеся жить тут на столетия – в 24 часа со стремительностью десанта перебрасывались на станции, грузились в эшелоны – и сразу трогались в Сибирь, в Казахстан, в Среднюю Азию, на Север. Ровно через сутки земля и недвижимость уже переходили к наследникам.

Как в начале войны немцев, так и сейчас все эти нации слали единственно по признаку крови, без составления анкет, – и члены партии, и герои труда, и герои ещё не закончившейся войны катились туда же.

С конца 1944, когда наша армия достигла Центральной Европы, – по каналам ГУЛАГа потёк ещё и поток русских эмигрантов – стариков, уехавших в революцию, и молодых, выросших уже там. (Брали, правда, не всех, а тех, кто за 25 лет хоть слабо выразил свои политические взгляды или прежде того выразил их в революцию.)

Захвачено было близ миллиона беженцев от советской власти за годы войны – гражданских лиц всех возрастов и обоего пола, укрывшихся на территории союзников, но в 1946—47 коварно возвращённых союзными властями в советские руки. Это были, главным образом, простые крестьяне с горькой личной обидой против большевиков. Они и были все отправлены на Архипелаг уничтожаться. В какой части мира и какой контингент западные правительства осмелились бы так выдать, не боясь в своих странах общественного гнева?

* * *

Надо напомнить, что глава эта отнюдь не пытается перечесть все потоки, унавозившие ГУЛАГ, – а только те из них, которые имели оттенок политический. Подобно тому, как в курсе анатомии после подробного описания системы кровообращения можно заново начать и подробно провести описание системы лимфатической, так можно заново проследить с 1918 по 1953 потоки *бытовиков* и собственно *уголовников*. Здесь получили бы освещение многие знаменитые Указы, поставлявшие для ненасытного Архипелага изобильный человеческий материал. То указ о производственных прогулах. То указ о выпуске некачественной продукции. То указ о самогоноварении. То указ о наказании колхозников за невыполнение обязательной нормы трудодней.

Указ о военизации железных дорог погнал через трибуналы толпы баб и подростков, которые больше всего-то и работали в военные годы на железных дорогах, а не пройдя казарменного перед тем обучения, больше всего и опаздывали и нарушали.

Однако мы в этой главе не входим в пространное и плодотворное рассмотрение бытовых и уголовных потоков. Мы не можем только, достигнув 1947 года, умолчать об одном из грандиознейших сталинских Указов. Уже пришлось нам упомянуть знаменитый Закон «от седьмого-восьмого», или *«семь восьмых»*, закон, по которому обильно сажали – за колосок, за огурец, за две картошины, за щепку, за катушку ниток (в протоколе писалось «двести метров пошивочного материала», всё-таки стыдно было писать «катушка ниток»), – всё на десять лет.

Но потребности времени, как понимал их Сталин, менялись, и та *десятка*, которая казалась достаточной в ожидании свирепой войны, сейчас, после всемирно-исторической победы, выглядела слабовато. И 4 июня 1947 года огласили Указ, который тут же был окрещен безунывными заключёнными как Указ *«четыре шестых»*.

Превосходство нового Указа было в сроках: если за колосками отправлялась для храбрости не одна девка, а три («организованная шайка»), за огурцами или яблоками – несколько двенадцатилетних пацанов, – они получали до *двадцати лет* лагерей; на заводе верхний срок был отодвинут до *двадцати пяти (четвертная)*. Наконец, выпрямлялась давнишняя кривда, что только политическое недоносительство есть государственное преступление, – теперь и за бытовое недоносительство о хищении государственного или колхозного имущества вмазывалось три года лагерей или семь лет ссылки.

В ближайшие годы после Указа целые дивизии сельских и городских жителей были отправлены возделывать острова ГУЛАГа вместо вымерших там туземцев. Правда, эти потоки шли через милицию и обычные суды, не забивая каналов госбезопасности, и без того перенапряжённых в послевоенные годы.

———

Эта новая линия Сталина – что теперь-то, после победы над фашизмом, надо сажать как никогда энергично, много и надолго, – тотчас же, конечно, отозвалась и на политических.

1948—49 годы ознаменовались небывалой даже для сталинского неправосудия трагической комедией *повторников*.

Так названы были на языке ГУЛАГа те несчастные недобитыши 1937 года, кому удалось пережить невозможные, непереживаемые десять лет и вот теперь, в 1947—48, измученными и надорванными, ступить робкою ногою на землю *воли* – в надежде тихо дотянуть недолгий остаток жизни. Но какая-то дикая фантазия (или устойчивая злобность, или ненасыщенная месть) толкнула генералиссимуса-Победителя дать приказ: всех этих калек сажать заново, без новой вины! Ему было даже экономически и политически невыгодно забивать глотательную машину её же отработками. Но Сталин распорядился именно так. Это был случай, когда историческая личность капризничает над исторической необходимостью.

И всех их, едва прилепившихся к новым местам и новым семьям, приходили *брать*. Их брали с той же ленивой усталостью, с какой шли и они. Уж они всё знали заранее – весь крестный путь. Они не спрашивали «за что?» и не говорили родным «вернусь», они надевали одёжку погрязней, насыпали в лагерный кисет махорки и шли подписывать протокол. (А он и был всего-то один: «Это вы сидели?» – «Я». – «Получите ещё *десять*».)

Тут хватился Единодержец, что это мало – сажать уцелевших с 37-го года! И *детей* тех своих врагов заклятых – тоже ведь надо сажать! Ведь растут, ещё мстить задумают. После великого европейского смешения Сталину удалось к 1948 году снова надёжно огородиться, сколотить потолок пониже и в этом охваченном пространстве сгустить прежний воздух 1937 года.

Сходные были с 37-м потоки, да несходные были сроки: теперь стандартом стал уже не патриархальный *червонец*, а новая сталинская *четвертная*. Теперь уже десятка ходила в сроках детских.

Не забыты были и потоки *национальные*. Всё время лился взятый из лесов сражений поток бандеровцев. С 50-го примерно года заряжен был и поток бандеровских жён – им лепили по десятке за недоносительство.

Целыми эшелонами из трёх прибалтийских республик везли в сибирскую ссылку и городских жителей, и крестьян.

В последние годы жизни Сталина определённо стал намечаться и поток евреев (с 1950 они уже понемногу тянулись как *космополиты*). Для того было затеяно и «дело врачей»[11]. Кажется, он собирался устроить большое еврейское избиение.

Однако это стало его первым в жизни сорвавшимся замыслом. Велел ему Бог – похоже, что руками человеческими, – выйти из рёбер вон.

———

Предыдущее изложение должно было, кажется, показать, что в выбивании миллионов и в заселении ГУЛАГа была хладнокровно задуманная последовательность и неослабевающее упорство.

Что ***пустых*** тюрем у нас не бывало никогда, а либо полные, либо чрезмерно переполненные.

Что пока вы в своё удовольствие занимались безопасными тайнами атомного ядра, изучали влияние Хайдеггера на Сартра и коллекционировали репродукции Пикассо, ехали купейными вагонами на курорт или достраивали подмосковные дачи, – а воронк*и* непрерывно шныряли по улицам, а гебисты стучали и звонили в двери.

И, я думаю, изложением этим доказано, что Органы никогда не ели хлеба зря.

[11] Уголовное дело против группы кремлёвских врачей, которых обвинили в заговоре и убийстве ряда высокопоставленных советских руководителей (1952—53). Следствие с применением пыток велось против 37 арестованных и сопровождалось антисемитской кампанией в прессе. Через месяц после смерти Сталина, в апреле 1953 все арестованные по «делу врачей» были освобождены, предъявлявшиеся им обвинения публично признаны несостоятельными, а методы следствия «недопустимыми». – *Примеч. ред.*

Глава 3. Следствие

Если бы чеховским интеллигентам, всё гадавшим, что*о* будет через двадцать – тридцать – сорок лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным кольцом, опускать человека в ванну с кислотами, голого и привязанного пытать муравьями, клопами, загонять раскалённый на примусе шомпол в анальное отверстие («секретное тавро»), а в виде самого лёгкого – пытать по неделе бессонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо, – ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом.

Да не только чеховские герои, но какой нормальный русский человек в начале века мог бы поверить, мог бы вынести такую клевету на светлое будущее? То, что ещё вязалось при Алексее Михайловиче, что при Петре уже казалось варварством, что при Бироне могло быть применено к 10–20 человекам, что совершенно невозможно стало с Екатерины, – то в расцвете великого Двадцатого века в обществе, задуманном по социалистическому принципу, в годы, когда уже летали самолёты, появилось звуковое кино и радио, – было совершено не одним злодеем, не в одном потаённом месте, но десятками тысяч специально обученных людей-зверей над беззащитными миллионами жертв.

И только ли ужасен этот взрыв атавизма, теперь увёртливо названный «культом личности»? Или страшно, что в те самые годы мы праздновали пушкинское столетие? Бесстыдно ставили эти же самые чеховские пьесы, хотя ответ на них уже был получен? Или страшней, что нам говорят: не надо об этом! если вспоминать о страданиях миллионов, это искажает историческую перспективу! Вспоминайте лучше о задутых домнах, о прокатных станах, о прорытых каналах…

Непонятно, за что мы клянём инквизицию? Разве, кроме костров, не бывало торжественных богослужений? Непонятно, чем нам уж так не нравится крепостное право? Ведь крестьянину не запрещалось ежедневно трудиться. И он мог колядовать на Рождество, а на Троицу девушки заплетали венки…

* * *

В разные годы и десятилетия следствие по 58-й статье почти никогда и не было выяснением истины, а только и состояло в неизбежной грязной процедуре: недавнего вольного, иногда гордого, всегда неподготовленного человека – согнуть, протащить через узкую трубу, где б ему драло бока крючьями арматуры, где б дышать ему было нельзя, так, чтобы взмолился он о другом конце, – а другой-то конец вышвыривал его уже готовым туземцем Архипелага и уже на обетованную землю. (Несмышлёныш вечно упирается, он думает, что из трубы есть выход и назад.)

В «Толковом словаре» Даля проводится такое различие: *дознание* разнится от *следствия* тем, что делается для предварительного удостоверения, есть ли основание приступить к следствию.

О святая простота! Вот уж Органы никогда не знали никакого дознания! Присланные сверху списки или первое подозрение, донос сексота или даже анонимный донос влекли за собой арест и затем неминуемое обвинение. И такая простая здесь связь: раз надо обвинить во что бы то ни стало – значит, неизбежны угрозы, насилия и пытки, и чем фантастичнее обвинение, тем жесточе должно быть следствие, чтобы вынудить признание. Насилия и пытки – это не принадлежность 1937 года, это длительный признак общего характера. Духовно-нравственных преград, которые могли бы удержать Органы от пыток, не было никогда.

Но если до этого года для применения пыток требовалось какое-то оформление, разрешение для каждого следственного дела (пусть и получалось оно легко), – то в 1937—38 насилия и пытки были разрешены следователям неограниченно, на их усмотрение, как требовала их работа и заданный срок. Не регламентировались при этом и виды пыток, допускалась любая изобретательность. В 1939 такое всеобщее широкое разрешение было снято, снова требовалось бумажное оформление на пытку. Но уже с конца войны и в послевоенные годы были декретированы определённые категории арестантов, по отношению к которым заранее разрешался широкий диапазон пыток.

Как средневековые заплечные мастера, наши следователи, прокуроры и судьи согласились видеть главное доказательство виновности в признании её подследственным. Однако простодушное Средневековье, чтобы вынудить желаемое признание, шло на драматические картинные средства: дыбу, колесо, жаровню, ерша, посадку на кол. В Двадцатом же веке признали такое сгущение сильных средств излишним, при массовом применении – громоздким.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.